



КОГДА ДОЛГО ЖИВЁШЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Мизерные порции жизни имеют свойства открывать великое значение своей принадлежности к вечности. И ограниченность пространства нашего существования исчезает, если однажды почувствуешь себя вне физического тела, и эту протяжённость за пределами самого себя, которая бесконечна.

Людмила
КИСЕЛЁВА





Я не знаю другой земной радости,
утром с чувством, что тебе нужен,
есть дело, которому тебе служить,
для других, — работа. Это не то
заработком, это то, что называю
земного бытия: отдавать себя
Эта сразу внушалась мне с детства
того безбожного времени, которое
радикально — христианские
в моральном кодексе советского
могла принять это слово, то
Мои друзья — люди одного кр
Грехопадения и самоотвержен

как просвещаться
что у тебя

полезное

что называется

материальными

другими людьми.

тва по радио, и это было великое

бое сидело в нас — как это ни па-

мена, используя заповеди Христа

человека. И была почва — душа —

ан оно и проросло.

буга, впитавшие в себя истину до-

ности.

*Посвящается всем,
перед кем виновата*

*Жить —
значит медленно
рождаться.*

*Антуан
де Сент-Экзюпери*



ЛЮДМИЛА КИСЕЛЁВА

КОГДА ДОЛГО ЖИВЁШЬ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
ПОВЕСТЬ

Обнинск • 2012

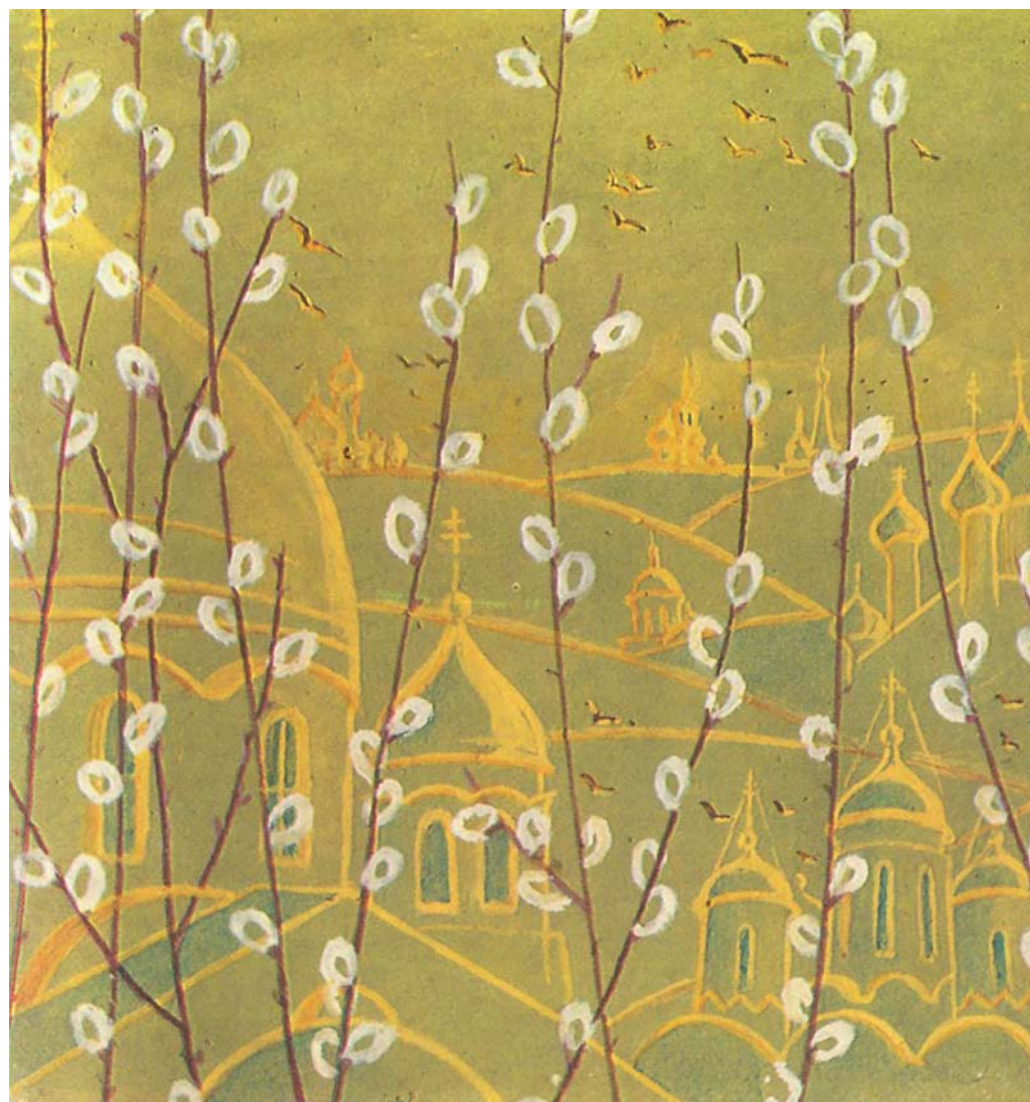
В оформлении
использована графика
Людмилы Киселёвой

Киселёва Л.Г.

Когда долго живёшь. Документальная повесть / — Обнинск,
2012. — 272 с.: Ил.

Вся наша жизнь есть творчество, и все мы каждый день рисуем эту жизнь разными красками, используя разную палитру чувств своей души, совершая поступки добрые или злые, и после земной жизни нам дается увидеть свою картину, в которой ничего изменить уже нельзя.







ДУМАЛА ЛИ ТЫ КОГДА-ЛИБО,
ЧТО ВСЁ, КАСАЮЩЕЕСЯ ТЕБЯ, КАСАЕТСЯ МЕНЯ?
ИБО КАСАЮЩЕЕСЯ ТЕБЯ
КАСАЕТСЯ ЗЕНИЦЫ ОКА МОЕГО.

ТЫ ДОРОГА В ОЧАХ МОИХ, МНОГОЦЕННА,
И Я ВОЗЛЮБИЛ ТЕБЯ, И ПОЭТОМУ ДЛЯ МЕНЯ
СОСТАВЛЯЕТ ОСОБУЮ ОТРАДУ ВОСПИТЫВАТЬ ТЕБЯ.

КОГДА ИСКУШЕНИЯ НА ТЕБЯ,
И ВРАГ ПРИДЁТ, КАК РЕКА,
Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ЗНАЛА, ЧТО

ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

ЧТО ТВОЯ НЕМОШЬ НУЖДАЕТСЯ В МОЕЙ СИЛЕ
И ЧТО БЕЗОПАСНОСТЬ ТВОЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТОБЫ ДАТЬ МНЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ ТЕБЯ.

НАХОДИШЬСЯ ЛИ ТЫ
В ТРУДНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,
СРЕДИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ТЕБЯ НЕ ПОНИМАЮТ,
НЕ СЧИТАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО ТЕБЕ ПРИЯТНО,
КОТОРЫЕ ОТСТРАНЯЮТ ТЕБЯ, —

ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО.

Я — БОГ ТВОЙ,
РАСПОЛАГАЮЩИЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ,
И НЕ СЛУЧАЙНО ТЫ ОКАЗАЛАСЬ НА СВОЁМ МЕСТЕ,
ЭТО ТО САМОЕ МЕСТО,
КОТОРОЕ Я ТЕБЕ НАЗНАЧИЛ.

*Преподобный
Серафим Вырицкий*





праздники и слёзы моего детства

*Ещё страданья
далеки,
Ещё
до пробужденья
вечность.*

Валерий Прокошин

Утро. Удивительное это время, когда ты как бы не живой и вот начинаешь рождаться: сначала появляется слух откуда-то издалека. Слышу тихие шаги по комнате — это мама, её зовут Евдокия Васильевна, ходит из кухни в комнату, которая называется у нас зал. На ногах у неё мягкие белые валеночки, потому и шаги еле слышны. Оживая, вспоминаю, что это моя мама, и, немного приоткрыв глаза, приглядываюсь, что она делает. Она расстилает на столе белую красивую скатерть, свежестиранную и ещё пахнущую горячим утюгом с углями. Белые занавески она уже успела развешать на окна, и оттого в комнате делается чисто, светло и празднично — это мама готовится к Пасхе. Она — неверующая и не очень понимает, что такое Пасха, но на нижнем этаже нашего дома живет бабушка Палсёмённа, как мы её звали, у неё супруг — дьякон, и она просвещает маму, что Пасха — это великий праздник, который надо справлять, то есть красить яйца, печь кулич и обязательно делать творожную пасху, даже деревянную



Мои родители —
Георгий Константинович
и Евдокия Васильевна.

Мой отец — водитель
редкой в городе в то время
машины «Эмка», возит
каких-то государственных
дядек и востребован
и днём, и ночью.



формочку ей предложила, на которой с четырёх сторон вырезаны кресты. Никто не знает, зачем и почему, но послушно всё исполняется. Кажется, что в комнате не только от белых салфеточек и занавесок светло, но от радости предвкушения праздника.

Забегает соседка тётя Маша, она дружит с мамой, и шёпотом торопит маму подать ей кулич и яйца для освящения в церкви. В городе когда-то было 32 храма, но большая часть их разрушена, а оставшиеся не звонят, потому что в них нет службы. Даже собор на площади, в котором разрешена служба, только мелким слабым звоном сообщает о празднике, да ещё в церкви в селе Роща тоже разрешается служба и звонят колокола. Мы не знаем, как называются эти храмы, знаем только, что тётя Маша ходит в Рощинскую и всегда сообщает об этом тихо.

Нижний сосед наш, дьякон отец Андрей, служит в Москве и, вернувшись из столицы, всегда привозит мне упаковку ирисок, что тоже для меня праздник. Слышимость в доме отличная, и часто снизу из-под пола раздаётся его поющий бас. Мама говорит, что дед Андрей опять выпил, вот и поёт, а я не понимала, что он молится, и никто не понимал.

Мой отец, Георгий Константинович, с утра на работе — на Пасху всё равно все работают, у кого ненормированный рабочий день. Он — водитель редкой в городе в то время машины «Эмка», возит каких-то государственных дядек и востребован и днём, и ночью. О работе своей никогда не рассказывает, и вообще он молчалив и скромн. И только позднее, спустя годы, порой произносил: «Вы ничего не знаете». При этом лицо его принимало скорбное выражение. В течение всей своей жизни я слышала от него слова, несовместимые в своем противоречии: «Я — коммунист, атеист, но в Бога верю». Не зная ни слова из Еван-

гелия, отец часто повторял: «Каждый человек должен относиться к другому так, как хочет, чтобы относились к нему». Или: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтоб делали тебе». Так он и жил, как говорил.

Моя мама, энергичная, активная, рассуждала по-своему: «Я верю только в себя, в свои силы — что могу сделать, то и будет, и ни на кого не надеюсь...»

Что-то соединилось в моей душе от них, и всю жизнь я живу так, как проповедовал отец и действовала мать, так и характер сложился. Но это потом.

Я люблю это утро за его тишину, мир, покой, снежные деревья за окном и чувство, что ты любима в этом доме и о тебе все заботятся.

До меня мама похоронила троих детей, болевших, как и я, миопатией и умерших от воспаления легких. Их я не помню, но помню брата Сашеньку, который родился после меня. Он был такой белоголовый, такой светлый личиком, такой умный и говорливый, что когда он пел взрослые песни, услышанные по радио, то никто не верил в его малый возраст. Он обожал отца и, во сколько бы тот ни возвращался с работы, всегда просыпался и садился с ним за стол ужинать — есть свиной шпик, который он любил и про который всегда приговаривал: «Вот я ем свинину — я не умру, а Люська не ест свинину — она умрёт...» Он тоже был болен и умер в два с половиной года. Сохранилась фотография мамы со скорбным лицом перед маленьким гробиком, в котором лежал этот удивительный ребёнок. Тётя Маша утешала её: «Что ты плачешь! Он безгрешный, ангелом будет». Я сидела рядом и плакала, глядя на мамины слёзы, а кто такой ангел, я не знала.

Когда Сашенька был жив, мама сажала нас в два разных угла дивана и просила нижнюю соседку бабу Катю посидеть с нами, пока она



Моя мама, энергичная, активная, рассуждала по-своему:
«Я верю только в себя, в свои силы — что могу сделать, то и будет, и ни на кого не надеюсь...»



Отец часто повторял:
«Каждый человек должен относиться к другому так, как хочет, чтобы относились к нему».
Так он и жил, как говорил.

Я сидела рядом с гробом
брatца Сашеньки
и плакала, глядя
на мамины слезы...



сбегает на полдник, то есть подоить в стаде на выгоне нашу корову Белянку.

Баба Катя — супруга другого священника, живущего под нами. Бабу Катю я очень любила, она скромная, тихая, смиренная и по-хорошему угодливая, и мне было очень странно, что у неё страшно крикливая дочь, которая, наверное, не ругалась только, когда спала. Но её я тоже любила в минуты её затишья, когда она приглашала меня в гости и кормила «пустым» супом, забеленным молоком. Дома у нас варился суп с мясом, но у крикливой тётки Шуры суп был вкуснее и семья больше нашей.

Баба Катя очень переживала, что я некрещёная, и однажды, взяв свою совершеннолетнюю внучку Нину и не спрашивая мою маму, подхватив меня прямо с лавочки во дворе, на руках понесла в собор, где меня и окрестили, — мне было лет семь. Об этом никто не должен был знать, потому что отец был членом партии, и всякое движение в сторону церкви каралось.

Супруг бабы Кати, отец Сергей, служил в отдалённой деревне Корижа, так как в Боровске было негде: многочисленные церкви уже были разрушены, а которые уцелели — приспособлены для других целей, в основном, под склады или магазины. Символичной была вывеска «Керосин», она кочевала от одного храма к другому: на каком повисит, тот храм вскоре и разрушается. Задержалась только на том, который и поныне стоит на краю площади, над спуском в овраг, потому и называется Спас на Взгорье. В центре же площади, почти рядом с собором, возвышался огромный храм. Его я смутно помню из глубокого детства. Он был разрушен после войны, и на этом месте был воздвигнут памятник Ленину со вскинутой вперёд рукой, призывающей к всеобщей победе коммунизма. Памятник окружала трибуна, с которой местные руководители при-

ветствовали трудящихся во время большевистских праздников.

А во время войны, когда Боровск был занят немецкими войсками, в этот храм немцы согнали местных жителей, заперли их, там они и замёрзли в зиму 1941, и горы трупов были обнаружены только в январе 1942, когда город был освобождён от врага.

Тогда и родилась я, в холодный день 31 января 1942 года — в день памяти святых Афанасия и Кирилла, когда мороз железо рвёт и на лету птицу бьёт. По приметам народного календаря, родившийся в этот день младенец мужского пола получал в наследство завидное здоровье, ум, лад и достаток. Девочкам он не сулил ничего хорошего. Именно в этот день в мой крошечный кулачок Господь вложил вместе с именем Людмила неординарную судьбу, не дав в придачу ни богатства, ни здоровья.

Родилась я не в больнице, а дома. Мама вернулась, не добравшись до Рязани, куда её отправил отец, спасая беременную жену от немецкой оккупации. Все эвакуированные возвращались, кто как мог. Помню, как мама, качая головой и охая, рассказывала своей подруге, вспоминая, как шла через поле,



Люся Киселева, 1,5 года.



Боровск моего детства.
На заднем плане виден
тот самый храм на площади,
в котором немцы замучили
наших пленных.



Мой отец Георгий,
вернувшийся из партизанского
отряда.

Семейный портрет.
Слева направо:
верхний ряд —
дед Константин,
его сноха Надежда,
сын Георгий (мой отец).
Нижний ряд —
его дочь Зина — моя тётя,
бабушка Прасковья,
его внук и мой двоюродный
брат Вовка
и дальняя родственница
Ольга.

усеянное после боя замёрзшими трупами немецких и советских солдат, подходила к кому-то из них, заглядывала в лица в поисках своего мужа, моего отца. Она не знала, что в это время отец был в партизанском отряде в соседнем районе Угодский Завод, там он находился около трёх месяцев и вернулся только после освобождения Подмоскovie.

Радости моего детства — это праздники, которые я любила, потому что все были вместе, было шумно и торжественно.

Я очень любила бывать всей нашей семьей в гостях у дяди Миши, маминого брата, в день 7 ноября. Здесь собирались все родственники по маминой линии, роду Андре-





Моя мама со своими
братьями Григорием
и Михаилом Андреевыми.



евых. Я никогда не видела бабушку и дедушку, знаю только их имена — Василий и Акси́ня, и знаю, что бабушка рано умерла от рака, а дед без вести пропал где-то в советских лагерях, арестованный за то, что немцы назначили его старостой. Где-то в другом городе жил ещё один мамин брат, дядя Гриша, а в Москве — сестра Варвара.

У дяди Миши всегда можно было вкусно поесть. Особенно я любила рыбные консервы в томате и, облизываясь, с вожделием смотрела, как дядя Миша обычным ножом открывает консервную банку одной рукой, придерживая её культей — руку он потерял на фронте.

Был ещё один праздник с радостью в сердце — 1 мая. Я не понимала, о какой солидарности трудящихся говорилось в призывах, звучавших по радио и на площади. Просто это была весна.

Мы жили около главной магистрали, ведущей к центру города, и со всех сторон люди колоннами подтягивались с красными знамёнами и флагами на площадь, где потом с цветами, песнями, плакатами, портретами членов



Моя мама, её сестра Варвара
и их племянница Маргарита.



Мне 13 лет.



Политбюро ЦК КПСС кругами ходили вокруг торговых рядов — это и называлось демонстрацией трудящихся пролетариев, которые соединялись между собой в едином порыве всеобщей предстоящей радости застолья.

Меня на руках приносили в центр города и сажали на заготовленный стульчик у стены дома. Я глазела на это торжество многолюдья, шума, песен, суматохи и ждала, когда пойдём в гости к деду Константину и бабушке Прасковье. Их дом был неподалёку, но тайно скрывался за спинами центральных, двухэтажных городских домов. Его и домом не назовёшь, скорее, избой-развалюхой, но вполне живым жильём. Вот сюда собирались все родственники по линии деда Киселёва Константина Васильевича.

Дед был уважаемым человеком в городе. С детства он лишился ноги и ходил на деревянном протезе, иногда с палкой. Он был ди-

ректором инвалидной артели «Новый путь», валявшей валенки. Он любил читать книги, много пить чаю и не отказывался выпить водочки, а по праздникам был запевалой всех хоровых русских песен за столом. Вот этого момента я и ждала, когда все выпьют, поедят и скажут: «Ну, дед, давай!» И дед выдавал громким голосом: «По диким степям Забайкалья...» или «Степь да степь кругом...», или...

Это было не просто пение, это было вдохновение. Теперь так за столом не поют, да и вообще не поют. Кругом магнитофоны, проигрыватели, телевизоры — теперь они поют. И вдохновение ушло. Все старинные русские песни, которые я знаю, — это из того детства. Пение деда подхватывала моя мама — тоже была голосистая, и слух хороший. Пели все гости. Песня была крепкой, спаянной, слепленной, как кирпич, никакого многоголосья, но зато громко и от души.

Бабушка никогда не пела, она проводила время в основном у русской печки с ухватом, доставая из её зева всё новые закуски: печёную картошку, глазунью, жареное мясо. Дед звал её: «Бабк, хватит тебе там с ухватом, иди сюда...», — на что бабушка махала рукой: «Да счас иду...» — и долго не приходила. Я всё думала: это она не хочет сидеть за столом или ждёт, чтоб её звали и звали?..

На кухне у бабушки в дальнем-дальнем, самом тёмном углу на шкафу скрывалась икона — бабушка молилась в её сторону перед едой, а по воскресеньям ходила в церковь. Икону показывать было нельзя — не дай Бог донесут куда-нибудь, ведь дед — коммунист.

Однажды бабушка наедине сказала мне, что есть Бог и Ему надо молиться, и велела записать молитву: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», что я и сделала. Молилась я не очень долго, потому что мама нечаянно выкинула бумажку с записью и молитву я забыла.



Дед Константин Васильевич Киселёв.

Моя бабушка Прасковья.





Я и моя младшая
подружка Лариса —
будущий мой врач.



Мы, дети, непременно
присутствовали на всех
праздничных застольях.
Я и мои двоюродные
брат и сестра.

Тетя Зина и её сын Валера,
мой двоюродный брат.

За нашим большим праздничным столом собиралось много родственников — тётки, дяди, внуки, племянники, двоюродные бабушки, но не помню, чтобы кто-нибудь из них за столом перекрестился.

Для меня праздничный день заканчивался походом в кинотеатр, который находился неподалёку. И такие походы в кино не раз повторялись и в будни.

Моя тётка Зина, сестра моего отца, первая красавица Боровска, любимая дочка моего деда, обожала ходить в кино. Так я и не узнала, почему она брала меня в кинотеатр на вечерние сеансы. Контролёры знали её и не возражали. Перед началом сеанса играл духовой оркестр живьём, пришедшие танцевали, кто с кем мог, а я сидела на стуле и всё боялась, как бы меня не попросили встать и уступить место. Наверное, у меня было несчастное испуганное лицо, и ко мне никто не подходил. Тётка Зина кружилась в танце до звонка, зовущего на сеанс.

Удивительное это чудо — кино: смотреть чужую жизнь, переживать события, плакать над





чужими бедами. Вот так привыкаешь сочувствовать героям в кино и не видишь тех, кто рядом ищет сострадания. Сколько ни прошло бы лет, а всё вспоминаются те мгновения, в которые не получилось понять близкого человека, посочувствовать ему, разделить его боль и усталость: это боль наших родителей.

Зато на всю мою жизнь, словно клише, легло это первое восприятие отношений мужчины и женщины: они на экране то обнимались, то расставались, то плакали, то смеялись, то кто-то разлучал их, — и всё это было так впечатлительно маленькому сердцу, что мне кажется, тогда, на этих взрослых фильмах, я навсегда поразились влюблённостью, которая сохранялась во мне всю жизнь к раз-

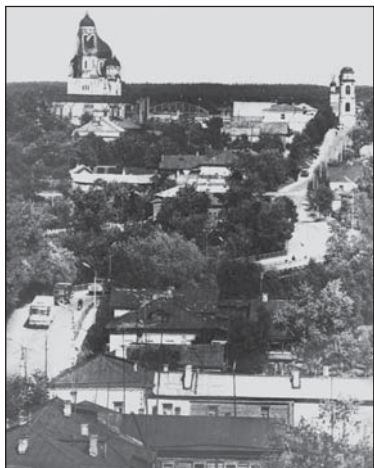
На всю мою жизнь, словно клише, легло это первое восприятие отношений мужчины и женщины: они на экране то обнимались, то расставались, то плакали, то смеялись, то кто-то разлучал их, — и всё это было так впечатлительно маленькому сердцу, что мне кажется, тогда, на этих взрослых фильмах, я навсегда поразились влюблённостью, которая сохранялась во мне всю жизнь к разным людям такой тоской и самоотдачей сердца, она делала мою жизнь, мою нестандартную женскую судьбу и радостной, и несчастной в жажде осуществления себя-женщины и невозможности быть ею.

ным людям такой тоской и самоотдачей сердца, она делала мою жизнь, мою нестандартную женскую судьбу и радостной, и несчастной в жажде осуществления себя-женщины и невозможности быть ею.

Вскоре эта впечатлённость проявится, как картинки-«переводилки», в моих рисунках, когда я ещё не знала, что могу рисовать. Это случится в 12 лет, когда в моей жизни появятся пластинки с песнями о той самой любви, которая разрывалась муками горя и радости на экране старого кинотеатра. Эти песни никогда не исполнялись по радио, они звучали только на танцплощадке в нашем городском саду, где под них танцевали мои подружки-соседки, которые были старше меня на три-четыре года.

Отец принес откуда-то старенький патефон, казавшийся всем нам чудом, потому что мог громко играть, стоя на подоконнике и привлекая внимание своим ором всех проходящих мимо.

Это такая радость, когда сидишь около окна с низким подоконником и видишь всю дорогу далеко-далеко, а по ней проходят редкие грохочущие грузовики, одинокий автобус с выдающимся вперёд «носом» и с бегущими то с санями, то с телегами лошадьми, которых





Окно — моё пространство в мир, и всё, что в нём происходит, — моя жизнь. Это такая радость, когда сидишь около окна с низким подоконником и видишь всю дорогу далеко-далеко, а по ней проходят редкие грохочущие грузовики, одинокий автобус с выдающимся вперёд «носом» и с бегущими то с санями, то с телегами лошадьми, которых тогда было гораздо больше, чем автомобилей.

тогда было гораздо больше, чем автомобилей.

Окно — моё пространство в мир, и всё, что в нём происходит, — моя жизнь, окно — это мой первый «телевизор». Почти целый день я сижу у окна на втором этаже, оно не так уж высоко от земли — такие дома во всём Боровске — смотрю вниз на зелёную травку под окном: на земле начерчены «классики», и девчонки разных возрастов играют то в «царство», то в «жигалки». А ещё игра «12 палочек» — почему 12, никто не знает, но важно ударить ногой по доске, на другом конце которой они лежат, палочки разлетаются в разные стороны, и пока водящий их собирает, все с визгом и писком прячутся в ближайшие уголки. Игра

не сложная, а радости и подвижности много. Это дворовая часть, а по краю двора — обочина дороги, и на этой обочине ребята бегают, играя в «клёпушки». Теперь и названий таких не знают, и никто в это не играет, а играют все в компьютерные игры, «бегая» виртуально. И может быть, поэтому «очкариков» тогда не было среди детей, не говоря уж о детях — курильщиках и сколиозниках.

Тот уголок двора под окном — моя Родина. Я долго любила его и болела такой тоской по нему, когда меня увозили очередной раз в са-

Из детских впечатлений
и родился позднее
мой рисунок
«Какой чудесный день!»





С ранней юности отец стал ласково называть меня «хозяйюшкой» — так он этим словом утверждал моё значение в семье.

наторий или больницу.

Я испытала насилие над собой так рано, когда меня вместе с мамой подсаживали в автобус, который отрывал меня от дома, и я исходила такими горькими слезами, словно жизнь вытекала из меня. Провожавшие нас соседки-бабушки тоже плакали, словно меня на убой ведут, как овцу. Такой овцой я себя чувствовала многие годы своего детства, кажется, это ощущение навсегда поселилось тогда в глубине моего живота, и при виде всякого насилия сжимает живот болью и протестом. Я не могу ни слышать, ни видеть, как издеваются над кошками, собаками, бьют детей, смеются над калеккой... Когда я видела в окно, как дурной хозяин лошади изо всех сил бьёт её за то, что она не может вытянуть сани по голой, весенней распутице, я плакала: лошадь бедная, а мужик дурак — зачем вовремя не сменил сани на телегу. И если теперь взрослый дядя шпынует ногой кошку или собаку, мне хочется закричать: «Эй, ты зачем бьёшь животное, ведь оно как ребёнок!..»

Человеческое насилие мне встречалось не раз в детстве за тем праздничным столом, где все пели песни. Среди родственников был брат моего отца. Удивительно, как это бывает — в одной семье два сына совершенно разные: мой отец — молчаливый, скромный, всег-



Мама и я семилетняя в больнице.

да где-то в уголочке от всех, про таких обычно говорят: «и мухи не обидит». Никогда не грубил своим матери и отцу, работать начал с 14-ти лет сновальщиком на ткацкой фабрике, помогая своей бабушке. Моего дядю звали Николай, и имя Коля стало для меня самым нелюбимым. И только через долгие годы это имя станет дорогим в лице близкого человека.

Дядя Коля любил выпить, и в момент застолья, когда он доходил до «кондиции», то есть когда его глаза наливались кровью, страх охватывал моё маленькое существо, и я начинала звать мою маму пойти в кино — так я хотела спрятаться от того, что предстояло не в первый раз. Дядя начинал скрежетать зубами, вертеть в руке нож и в какой-то миг его злобной речи по какому-нибудь поводу кончиком ножа стучать о стол. Однажды он так даже порезал собственную руку, но чаще было по-другому. Родственники тихо расползались из-за стола, а дядя, всё больше разъярясь, начинал рвать на себе рубаху, под ней майку и догонять кого-нибудь с ножом, чаще всего своего колченогого отца, то есть моего дедушку. Обычно этот праздник заканчивался битьём его жены, неважно, за что — за что-нибудь. Вот тогда я навсегда возненавидела всё, что разрушает мир, тишину, добрые разговоры, и до сих пор вздрагиваю от повышенной интонации, криков и истерических воплей.

Иногда мне кажется теперь, что многие люди, даже будучи трезвыми, вот таким способом хотят реализовать себя, не востребуемых, несчастлившихся, не знающих, зачем они живут, не понимающих, чего им надо хотеть и добиваться, кому посвящать себя, о ком заботиться — кому себя жертвовать. Они не осознают этого и тогда или бушуют от непонимания своей муки, или напиваются и демонстрируют свою власть над другими, более слабыми, или вообще уходят от жизни в наркокайф.



В юности я думала: люди созданы природой для продолжения самих себя и бессознательно всегда стремятся к этому. Во мне тоскует природа, что я не могу восполнить ее. Но ведь природа не терпит пустоты. Там, где подводит тело должен еще с большим напряжением жить дух, и значит моя жизнь тоже имеет свое предназначение?

Если бы человек с детства понимал себя космически как продолжение себя телесного в бесконечное пространство, и весь окружающий его мир воспринимал бы как единство, а себя как клеточку этого мира (и всё — как клеточки единого организма), не только зримого, но и невидимого вне себя и внутри себя, — с таким человеком можно было бы разговаривать и рассказать ему о том, что есть Бог, и научить его молиться, и открыть ему лестницу в Небо.

Но это потом, когда я начну размышлять.





найти в себе себя

*Причастные
завидному уделу,*

*Мы почитаем
чудом, если вдруг*

*Непреходящий
собственный наш дух*

*Животворит
слабеющее тело.*

Валентин Сидоров

Пока я ещё не умею размышлять, только чувствую. Пластинка на старом патефоне кружится и кружится, страдая и стenea от неразделённой любви голосом молодой Клавдии Шульженко, и мне так жаль всех, кто не встретился или расстался, что я иногда плачу. Мама не понимает моих слёз, ведь мне всего 12 лет, и ворчит на меня: «Делом бы лучше занялась...» Тут и дело нашлось.

Отец подарил альбом необыкновенной по тем временам красоты: вельветовая обложка с золотым тиснением кленовой ветки — мечта, а не альбом. С одной стороны я писала текст — душераздирающие песни, а с другой я стала рисовать иллюстрации к ним: «Когда на землю спустится сон и выйдет бледная луна, я выхожу одна на балкон, глубокой нежности полна. Мне море песню о счастье поёт, ласкает нежный ветерок, но мой любимый сегодня не придёт...» Или: «Прощались мы, светила из-за туч луна, расстались мы, и снова я одна...» Мои одинокие красавицы, худосочные, с огромными глазами, с бровями во весь

Я не очень любила
рисовать,
это было занятие
от невозможности
заниматься
чем-то другим:
бегать по двору
с девчонками,
сидеть на лавочке
вместе с ними светлыми
летними вечерами
или сбегать на танцы
в городской сад, откуда
слышались звуки живого
духового оркестра,
волнующего своими
мелодиями, долетавшими
в распахнутое
ночное окно.



лоб, с гривами волос страдали на балконах, а все мои подружки с восхищением и удивлением приговаривали: «Я так не умею».

Так я впервые почувствовала, что я что-то могу.

Я не очень любила рисовать, это было занятие от невозможности заниматься чем-то другим: бегать по двору с девчонками, сидеть на лавочке вместе с ними светлыми летними вечерами или сбегать на танцы в городской сад, откуда слышались звуки живого духового оркестра, волнующего своими мелодиями, долетавшими в распахнутое ночное окно. В такие ночи, лёжа на кровати с закрытыми глазами, словно сплю, я мысленно писала события, которых не могло быть в моей жизни, но в которых я воображала себя. И потом днём я записывала свои сочинения, одно из которых называлось «На целине».

Это было время освоения залежных земель на великих просторах нашей огромной страны. По радио бесконечно звучала эта тема, обещание необыкновенных пудов урожаев на душу населения. Звучали песни, вдохновляющие молодёжь на эту великую работу, и молодёжь ехала и ехала в казахстанские степи с великой верой в осуществление всех программ, заданных партией. Но меня мало волновали программы, связанные с урожаем, я хотела рассказать, как на целинной земле встретились двое, Андрей и Наташа, как сердца их потянулись друг к другу и как они старались продуктивно трудиться, чтоб обратить внимание друг друга на себя, как нечаянно ссорились, мирились...

Не помню, чем закончилась моя повесть, но, скорее всего, как в сказке: стали они жить-поживать и добра наживать — так мне хотелось, чтобы наконец, люди встретились и не расставались и жили долго и счастливо вместе, как мои родители, которые никогда не



разлучались и не помышляли о других интересах, кроме одного общего дела: заботиться обо мне, учить, лечить и радоваться тому, что есть в их жизни — корова, поросёнок, куры, огород, любимая дочка, хорошие соседи, работа... Я никогда не слышала, что кто-то из них хочет какой-то другой жизни.

Только иногда мама сожалела, что не может никуда от меня отлучиться и хоть немного отдохнуть от хозяйственных забот. Её мечта — пожить у сестры Варвары в Москве — так и не осуществилась. И только в самом конце жизни после двух инфарктов, после того, когда она ослепла на один глаз, когда тело её стало немощным от усталости, она тоскливо стала приговаривать, что неправильно прожила

Мои родители никогда не разлучались и не помышляли о других интересах, кроме одного общего дела: заботиться обо мне, учить, лечить и радоваться тому, что есть в их жизни...



В квартире было чисто и уютно, на кухне всегда готовый обед, я всегда ухоженная, полы так надраены, что лучшей хозяйки, чем моя мама, я так и не знала за всю жизнь. И никто лучше неё не мог печь пироги.

жизнь, ничего не видела, ничего не узнала...

Эти сомнения не коснулись моего отца. Он всегда радовался трудовому дню, всегда был готов к нему, он всегда помнил о своих домашних обязанностях и всегда в трудных ситуациях говорил: «Ну, надо — так надо»... Слово «надо» — символ его жизни, согласие со всем тем, что ему послано в исполнение.

Я только начинала жить, пробовать рисовать, писать, вышивать... В старом доме нашей квартиры старое было всё: у стола была выщерблена столешница, в комод — ободранные ящики, провалены пружины дивана и кровати, разноразные стулья... Всё это хотелось как-то поправить, украсить, и отец красил краской и комод, и шкафы, покрывал их лаком. Мама покупала белую ткань, чтобы из неё сделать скатерти, и я эти скатерти вышивала гладью, крестиком болгарским и русским, крючком вязала кружева для подзоров к кровати — так я украшала наш убогий быт, от чего и ущербный комод был красивым, и стол, покрытый вышитыми цветами, и диван был хорош собой с вышивкой... Впрочем, убогим быт наш не выглядел. В квартире было так чисто и уютно, на кухне всегда готовый обед, я всегда ухоженная, полы так надраены, что лучшей хозяйки, чем моя мама, я так и не знала за всю жизнь. И никто лучше неё не мог печь пироги.

Это потрясающее утро праздника, когда ты встаёшь, отец сажает тебя за стол, на котором пироги с яйцами, жареные и печёные, ватрушки с творогом, лепёшки из духовки и лепёшки с плиты — почему-то разные по вкусу — и всё это из печки. А ещё, чтобы праздник отличался от будней, отец всегда покупал мне банку сгущённого молока — моё любимое лакомство — на большее у моих родителей не было денег. Мама не могла отойти от меня на работу, поэтому добытчиком был только отец,

который получал, будучи шофёром, а потом инкассатором, мизерную зарплату, но в доме никогда не плакали о нехватке денег — жили тем, что было. Каждый раз, собираясь на работу, он просил маму подшить низ его старого пальто, которое так износилось, что по самому краю кусками вылезала вата (пальто было зимнее).

А маму я помню в праздничные дни в одной и той же кашемировой фиолетовой юбке и в очень красивом жакете, который был сшит из огромной юбки бабушки Аксины, от которой остался большой сундук с дореволюционной одеждой. Мама доставала сокровища из сундука, вот из одной такой юбки и сшила ей портниха красивый жакет. Его она надевала только в самые ответственные моменты жизни, например, когда в очередной раз ехала в Москву вместе с тётей Варей в какое-то министерство, куда в плохой одежде хоть и пу-



До 4-х лет я еще могла стоять,
держась за табурет.



Отец всегда спешил
порадовать меня первыми
ягодами лесной земляники.

скали, но пренебрежительно на таких людей смотрели. Тётя Варя жила побогаче, на ней была шуба и меховая шляпа. В министерство её пропускали с удовольствием и разговаривали с ней по-другому, более уважительно. Там моя мама добивалась, чтобы мне дали направление куда-нибудь на лечение. До четырёх лет я ещё могла стоять, держась за табуретку, и она свято верила, что меня можно вылечить, что я буду ходить.

А вот тётя Маша говорила мне: «Ты счастливая, тебя Бог любит». А я так и не понимала: как же Он меня любит, если я не могу ходить? И живу жизнь только в мечтаниях, познавая через них свои «не могу» и «могу».

Подружки читали мой роман «На целине» и требовали его продолжения.

Писала я потом всю жизнь. Не романы, а статьи в газеты, эссе о художниках, размышления по поводу конкретных событий, новеллы — так сбывалась моя юная мечта погружаться в судьбы людей и рассказывать о них, непременно каждым случаем в качестве поучения.





Через какие-то долгие
родственные поколения
в мир пришла я
с изломанным телом.

Моя жажда рассказать другим, что я знаю и понимаю, была столь велика, что я не замечала, как укреплялась в мысли: правильное моего мнения быть не может. Но чтобы иметь такое право, такую уверенность в себе, надо было пройти предыдущие ступени унижительного детства, когда окружающие тебя ближние и дальние люди видят в тебе такое отклонение от нормы, от похожести на них, такую деформацию природы, которая жить не должна, а если и живет, то ни на что не годна.

Меня называли «куском мяса», «бревном» или ещё как-нибудь похуже. Соседская девочка Алька, падчерица тёти Шуры, всё время битая мачехой, иногда появлялась во дворе и когда я сидела на лавочке стояла напротив, ковыряя в носу, приговаривая монотонным голосом: «Безногий инвалид, безногий инвалид». Я так и не понимала, почему «безногий», ведь ноги у меня есть.

А когда моя тётя Зина везла меня, 16-тилетнюю, в самодельной инвалидной коляске по улице, в домах распахивались окна и кто-то кому-то кричал в глубь комнаты: «Иди ско-

Моя жажда рассказать другим, что я знаю и понимаю, была столь велика, что я не замечала, как укреплялась в мысли: правильное моего мнения быть не может. Но чтобы иметь такое право, такую уверенность в себе, надо было пройти предыдущие ступени унижительного детства.

Я рождалась через
книги, которых с детства
было прочитано великое
множество. Невозможно
сравнить эту радость
с какой-либо другой,
когда сидишь на кровати,
а мама вываливает
тебе принесённую
из библиотеки кучу
зачитанных, замызганных,
иногда порванных книг,
пахнущих веками и
разными странами.

рей, смотри кого везут!» Моя тётя, не стесняясь в выражениях, грозила кулаком кричавшей бабе: «Дуууура, я что, медведя везу?!»

Но таких потрясённых «дур» было ещё много-много на моём пути, даже когда я перестала передвигаться на коляске, стесняясь её. Может быть, именно тогда, в эти болевые моменты, ещё неосознанно, как росток из глубокой земли, из-под асфальта, пробивалось моё желание быть чем-то другим, привлекательной для людей — не здоровьем своим, не красотой, а тем, что есть во мне значительного, мне самой неведомого, что мне дано свыше.

Найти в себе себя — мучительно, как роды. Об этом хорошо написал один из писателей, ставший любимым, Сент-Экзюпери: «Жить — значит медленно рождаться».

Я рождалась через книги, которых с детства было прочитано великое множество. Невозможно сравнить эту радость с какой-либо другой, когда сидишь на кровати, а мама вывали-





вает тебе принесённую из библиотеки кучу зачитанных, замызганных, иногда порванных книг, пахнущих веками и разными странами. Какие великолепные сказки жили в этих книгах — китайские, русские, немецкие, белорусские... Я очень любила Андерсена за мудрую доброту его сказок, особенно его русалочку, которая терпела страшную боль, поменяв свой хвост на ноги, чтобы только видеть своего любимого на земле.

Я искала себя в книгах героических: то в повести о Зое Космодемьянской, то в Лизе Чайкиной, то сразу в трёх первых советских лётчицах — Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой. Примером стойкости и мужества стал для меня Алексей Маресьев — лётчик, оставшийся без ног, но

Я была тихой и застенчивой,
словно находилась в каком-то яйце
и ещё не проклюнулась.
Такой я себя и изобразила потом
в рисунке «Девочка с веснушками» —
белобрысая девочка с печальными
глазами, выцветшими ресницами,
с поджатыми под подбородок
коленками, охваченными руками.
А ступней нет, опереться не на что.
И сама она, как невылупившийся
цыплёнок, заключена в яйцо.



снова научившийся летать. Я была учительницей в школе и врачом над хирургическим столом, я любила все профессии, которые были самыми уважаемыми в обществе моего детства и которые совсем не уважаемы теперь, унижены, не почитаемы, и особая значимость этих профессий растаяла.

Мне хотелось быть нужной и интересной людям, но как — я не знала. Я была тихой и застенчивой, словно находилась в каком-то яйце и ещё не проклюнулась. Такой я себя и

изобразила потом в рисунке «Девочка с веснушками» — белобрысая девочка с печальными глазами, выцветшими ресницами, с поджатыми под подбородок коленками, охваченными руками. А ступней нет, опереться не на что. И сама она, как невылупившийся цыплёнок, заключена в яйцо.

Моя мама, узнав от кого-то из врачей по секрету страшную тайну о существовании в Ленинграде детского ортопедического института имени Турнера, поехала в очередной раз в неведомое мне министерство добиваться, чтобы меня направили в тот институт на лечение. Как она потом рассказывала, тамошние тётки сделали большие глаза, удивляясь, откуда ей известно об этом институте. Она долго со слезами умоляла, чтобы мне дали туда направление.

Мне было 16 лет. Как всегда, я с тоской восприняла это известие. Мама уверяла, что эта проба в последний раз и что, может быть, меня, наконец, там поставят хотя бы на костыли. Я была в возрасте осознания себя и мамино решение приняла со смирением и покорностью, хоть и слабо, но надеясь, что моя жизнь развернется, пробившись через асфальт.



Медсестры Лена, Рая, Таня, Надя, врач Нина Константиновна, учительница Галя, воспитатель Полина Владимировна, «мамочка» Нина Ивановна, названная так мною за материнское отношение ко мне... Иных уж нет, а другие — Бог весть! — живы ли, но в памяти моей навсегда.

Новый год
в институте Турнера.



Я привыкла жить среди здоровых
и долгие годы относилась
к изуродованной человеческой плоти
с брезгливостью, с трудом
переноса их присутствие.

Мне хотелось быть
здоровой среди здоровых.
Наверное, поэтому спустя многие
годы Бог пошлёт мне заботу
о таких детях, деформированных,
уродливых, несчастных, целый
детский дом ребятишек с
печальными,
иногда остановившимися
глазами.

Очень старенький высокий худой профессор Новожилов, глядя на меня сверху добрыми печальными глазами, а с ним ещё с десяток белых халатов, чьих лиц от застенчивости я не видела, жалостливо осмотрели меня, и профессор грустно, но с надеждой приговорил меня к пребыванию в институте на целый год, чтобы испытать на мне вновь открытый тогда препарат АТФ.

Несмотря на свой «великий» возраст, я всё так же, как в детстве, просыпалась в ночной палате, с тоской вспоминая, что я не дома, что рядом нет мамы, что санитарку не дозовёшься, что кругом дети, такие уродливые, каких я так много и сразу никогда не видела, в таком скоплении телесных деформаций — горбатых, хромых, кривых, большеголовых. Я привыкла жить среди здоровых и долгие-долгие годы относилась к изуродованной человеческой плоти с брезгливостью, с трудом переноса их присутствие. Мне хотелось быть здоровой среди здоровых. Наверное, поэтому спустя многие годы Бог пошлёт мне заботу о таких детях, деформированных, уродливых, несчастных, целый детский дом ребятишек с печальными, иногда остановившимися гла-

зами, и на мой вопрос: «Почему у некоторых глаза такие неживые?» — доктор мне ответит: «У них нет интеллекта».

Я ещё не задавалась вопросом, почему нас, убогих, так много. Когда у Дома ребёнка собралась толпа людей на встречу с Патриархом Алексием II и прозвучал именно этот вопрос, Патриарх ответил: «Вот вы пьёте, курите, блудите, а потом рождаются такие дети...»

Свои вопросы, годами болевшие в груди, почему я такая, кто я такая, я задала священнику отцу Олегу: «Что собой представляет ин-



Куда уходит детство



Я верила
только в саму себя,
в свои возможности,
и главной целью было
самоутверждение.
Сам... сама, — как часто
ребёнок произносит
эти слова, едва поднимаясь
на ножки.
Он верит, что всё может,
и вера эта касается
всех сторон его жизни.
Как много ошибок
совершается в этой
самоуверенности,
самонадеянности,
самовлюбленности.

валид в нашей жизни? Почему его называют убогим? Кто виноват, что ребёнок рождается больным?» Он мне ответил: «В Евангелии Господа спрашивают про слепорождённого, кто виноват: он или родители его, что родился он слепым? На что Господь отвечает: ни он, ни родители его, но чтобы на нём явились дела Божии. И сотворил чудо исцеления слепого. Явились дела Божии — это не всегда чудо исцеления или явления Господнего вмешательства, дела Божии являются в виде милосердия в отношении к инвалиду. Через родственников, знакомых, ближних Господь даёт возможность совершать добрые дела, то есть дела милосердия. И, как правило, в промысле Божиим многое сочетается. Может, и родители его согрешили, ребёнок своим бедственным положением искупает грехи своего рода. Может быть, Господь отнял некоторые возможности земные, чтоб даровать дар небесный, например, как с преподобной Матроной: она была слепая от рождения, а с 17 лет лишена возможности двигаться, то есть она была человеком убогим — не на земле живущей, а у Бога. И являлись на ней дела Божии: Господь даровал ей возможность помогать и утешать людей физически здоровых, которые и ходят, и видят».

Если бы тогда, в 16 лет, мне было бы сказано всё это, если бы сердце моё открылось к пониманию этих слов и я поверила бы им, наверное, моё сознание, моя душа возрела и развивалась бы иначе.

А тогда я верила только в саму себя, в свои возможности, и главной целью было самоутверждение. Сам... сама, — как часто ребёнок произносит эти слова, едва поднимаясь на ножки. Он верит, что всё может, и вера эта касается всех сторон его жизни. Как много ошибок совершается в этой самоуверенности, самонадеянности, самовлюбленности.

Я воспитывалась на часто повторяемом лозунге: «Человек — это звучит гордо». Этими словами было закрыто другое слово: достоинство. Личная гордость, народная гордость, коллективная гордость, гордость за Родину, гордость за своих детей. Какая разница смысловых оттенков в этих понятиях? Я ещё не знала ответа на эти вопросы. Мои родители гордились мной, когда в Боровске состоялась моя первая персональная выставка рисунков; гордились, когда меня впервые показали по телевидению, рассказали в газетах, опубликовали рисунки в известном, популярном советском журнале «Юность», а позднее — во многих журналах: «Советский Союз», «Советская женщина», «Работница», «Спутник»... Можно ли порицать их за это? Ведь у них не было иного смысла жизни, как радоваться моим успехам, уважению людей. Можно ли порицать меня за то, что я, униженная, обиженная, оскорблённая в детстве, «вылупилась» из яйца и у меня появились крылышки?

Тогда в Институте им. Турнера меня не поставили ни на ноги, ни даже на костыли, но там произошло таинственное рождение меня другой, меня активной. Я с благодарностью вспоминаю тот год, прожитый в городе, который стал родным на всю жизнь, имя которому Ленинград. В этом месте на земле была моя ось планеты, здесь был какой-то мистический магнит, в котором ко мне притянулись все лучшие люди этого дома, где я не столько лечилась, сколько училась жить с помощью этих людей. Молоденькие медсестры, старше меня всего на четыре—пять лет, дружили со мной, как с подружкой: Катя, Таня, Лена, Рая, учительница Галя, старшая медсестра красавица Наталья Петровна. Всей палатой ждали, когда она появится в дверях утром, чтоб любоваться её лицом, стройной фигурой, слышать её приветливый голос. Словно солнце в палате взой-



Нина Ивановна, «мамочка»,
и её сын Славик.

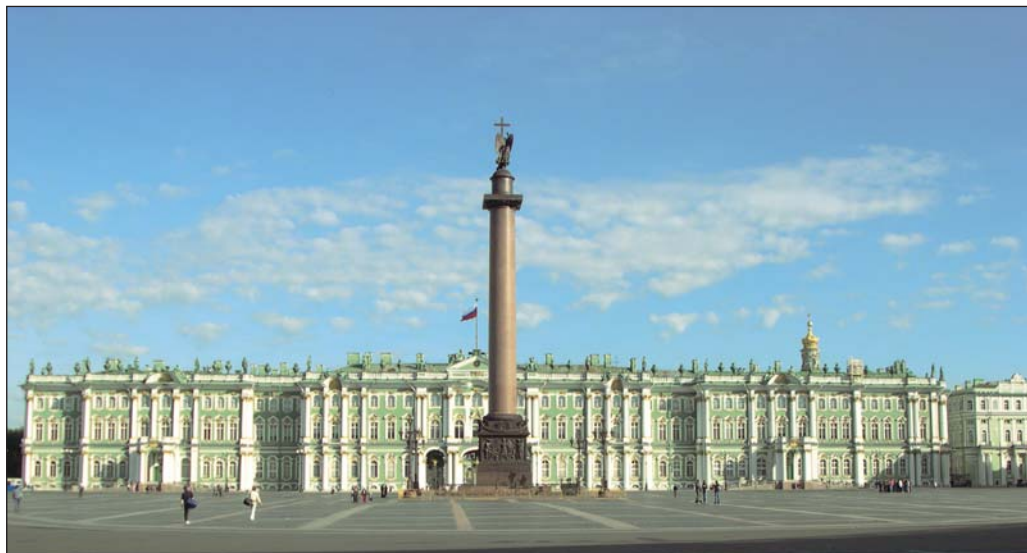
дёт. Для человека, живущего в ограниченном пространстве очень важно, кто с ним рядом, с кого начинается его день.

Зайдёт Нина Ивановна с мягкой улыбкой на лице, словно мама пришла. Тогда в далеком Ленинграде Нина Ивановна пыталась обогреть то место рядом со мной, где должна быть моя мама, может быть, поэтому я стала называть её «мамочка». Так потом это «звание» и осталось за нею на долгие годы, когда мы разъехались в свои города, я — в Боровск, а она — во Львов.

Её 10-летний сын Славик едва стоял на ногах, весь в протезах, на костылях. Она жила вместе с ним в изоляторе, приводя к нему со стороны ещё каких-то целителей, которых не было в институте; и любовь её к сыну была такой жертвенной, такой усердной в желании укрепить его ноги, что спустя многие годы, время от времени переписываясь с нею, я радовалась, что Славик ходит. Но позднее я ужасалась её сообщениям, узнавая, что он любит выпить, что он приводит одну за другой женщин в дом, что он отъединился от неё на кухне и мать туда не пускает, и когда ей по её нездоровью невозможно дойти до магазина, 36-летний «мальчик» с подружкой жарят котлеты, закрыв дверь.

Мне казалось тогда, что старушка придирается к своему сыну и потому он закрылся от неё. А может, и правда, избалованный вниманием матери Слава ожесточился и отверг её от своей жизни. Мне тогда не хватило сочувствия сказать ей слова утешения. Нам всегда не хватает милости к своим родным людям, которые кажутся нам необразованными, некультурными, неспособными понимать нас, любимых ими, всяких — и неумных, и горбатых, и хромых, и косых — приносящим нам в жертву свою жизнь каждый день.

Сегодня из небытия выплывает фотография,



на которой я в инвалидной коляске, за спиной — Нина Ивановна, рядом Полина Владимировна Богдарина, еще один близкий человек из ленинградского периода, который жил рядом со мной, а не просто был воспитателем, как для всех детей нашего отделения.

Воспитатель души — это не профессия, это помощник, устроитель, координатор твоих мыслей, действий, это — как навигатор на опасной дороге жизни, где вокруг всё грозит авариями и катастрофами: чуть не туда повернул — и разбился.

В юности проживаешь так много разных эмоций, даже когда находишься в замкнутом пространстве, и так важно, чтобы был рядом взрослый «дружок», который и без твоих откровений понимает тебя и вовремя найдёт сказать самое нужное слово — и поругать, и утешить, и постыдить, и посоветовать....

Я хотела жить в напряжении не в 220 вольт по стандарту, а в 380, я старалась закончить программу двух классов за один год, я посту-

Я с благодарностью вспоминаю тот год, прожитый в городе, который стал родным на всю жизнь, имя которому Ленинград.

В этом месте на земле была моя ось планеты, здесь был какой-то мистический магнит.



Поездка в Эрмитаж.
 Слева направо:
 медсестра Лена, воспитательница
 Полина Владимировна,
 Нина Ивановна — “мамочка”.
 Впереди я, Слава, сын Нины
 Ивановны, Витя (умер в 18 лет).

пила учиться в Заочный народный университет искусств, чтобы учиться рисовать. На мне была обязанность поддерживать порядок в палате — присматривать, чтобы дети полили цветы, чтобы никто не сорил после уборки тети Пани, любимой санитарки, чтобы все сделали уроки и все сходили на процедуры, — ведь я была самая старшая по возрасту в палате.

А по вечерам, когда воспитатели расходились по домам, у нас было продолжение нашей личной жизни, скрытой от всех. Мы переставали кидаться подушками и грызть спрятанные в тумбочке конфетки и печенья, мы устраивали «собрания», на которых обсуждали прожитый день: кто из детей дерзко себя вёл, кто сбегал с «вытяжки» перед операцией позвоночника, кто кому наврал, кто не умылся. И кто-то из девчонок раскаивался в своих поступках, кто-то защищался, кого-то хвалили за хорошее поведение. Это было что-то среднее между исповедью и партсобранием. И теперь не знаю, хорошо ли это было, но в такие вечера мы учились размышлять о себе, сво-

их поступках, задавать себе вопрос: «какая я?»

На той старой ленинградской фотографии рядом со мной в коляске ещё один мальчик — Витя, тогда ему было 12 лет, а в 18 он умер. Он болел, как и я, миопатией.

Моей маме тоже говорили врачи, что я доживу лет до 15. Прошли годы, мне далеко за 60, я смотрю на тех детей-инвалидов, которым теперь пытаюсь помогать, став добровольно их помощником, зная, что этим детям врачи пророчат короткую жизнь, и думаю: что испытывает мать, которой врачи говорят, что её ребенок скоро умрёт? Какие силы понуждают её этого ребёнка учить, развлекать, лечить, где внутри материнского сердца то место для необъяснимой любви, которую называют инстинктом, и той веры, с которой она надеется отвоевать ребёнка у смерти?

Так мои родители не хотели верить медицине, и сама я теперь нахожусь в убеждении, что врачи ничего не знают, а есть совсем другая сила, которая даётся каждому человеку, способствует его усилию, его надежде, его старанию, его воле. Я не знала тогда, что эта сила называется Бог.

Перед отъездом из института мне устроили подарок: поездку в Эрмитаж. И все мои сестрёнки, провожая меня на вокзале, стоя у окна вагона, видя мои слёзы расставания, грозили мне пальцем: не плачь!

Из Ленинграда я вернулась с установкой — искать в себе себя. Я больше не оплакивала судьбу женщин, разлучённых с любимыми, я не сочиняла любовные истории на бумаге, я не придумывала по ночам события, якобы происходящие со мной, я хотела жить своей жизнью, мне данной в тех обстоятельствах, в том месте, с теми возможностями, какие у меня были, и открыть в себе всё то, что было ещё невидимо и неведомо.





С кем я училась жить

Я ещё не осознавала, но предчувствовала человеческое предназначение, которое выходит за пределы самого себя земного, ограниченного, и продолжается где-то в незримом мире.

А пока я рисовала стаканы, чемоданы, чайники, табуретки, и мне нравилось узнавать, что такое перспектива, светотени, «холодные» и «горячие» цвета — то, чему учили в Заочном народном университете искусств, и считала это целью своей жизни.

Мой самый первый педагог, Григорий Ефимович Тарасевич, словно был послан мне, неуверенной в себе начинающей ученице, чтобы укрепить меня в сознании, что я умею и могу. Он сразу же изменил учебную программу для меня, усложнив её и ускорив процесс обучения по времени. Связь с ним оборвалась с его уходом из жизни, словно он выполнил своё дело со мной, а за ним должен прийти другой.

Другой был Алексей Семёнович Айзенман.

Когда проходят многие годы и оглядываешься на свою жизнь и читаешь её, как книгу, вдруг увидишь, как собирались вокруг моей

*Всякое
восхождение
мучительно.
Перерождение
болезненно.
Не измучившись,
мне не услышать
музыки.
Страдания, усилия
помогают музыке
завучать.
Антуан
де Сент-Экзюпери*

Когда рисуешь, очень важно
чувствовать или понимать,
о чём ты хочешь сказать, пугает
ли тебя что-то, радует ли,
а главное каков дух идёт
из твоих рисунков:
дух любви – созидания,
удивления перед красотой мира
или страхом перед его ужасом,
разрушением, порочностью.
И это во многом зависит от того,
какой дух в твоей собственной
душе, какое состояние твоей
психики, твоих переживаний,
сочувствуешь ли ты миру или
отвергаешь его. Это называется
индивидуальность художника.



жизни люди, принимавшие доброе участие в моей судьбе. Иначе как божьими посланцами их и не назовёшь. Алексей Семёнович — один из них. Он был не просто педагог, он стал другом дома и приезжал к нам из Москвы, как родной. Мы собирались за столом и любили вместе петь песни: «А теперь, Люся, спойте «Берёза, белая подруга...» Я была голосистой, как мама, только прилюдно петь стеснялась, но Алексея Семёновича я уважала и старалась угодить ему своими руладами. Теперь мне кажется, он и сам любил попеть, но, наверное, не с кем было, кроме меня, потому-то он так вдохновенно поддерживал мой голос, и дуэт наш неплохо слушался.

В то время я была воспитана на художниках-передвижниках, я любила в картинах всё «натуральное», мне очень были близки картины сюжетные: Репин, Перов, Серов и т. д. Курсовую работу я писала по картине Репина «Не ждали». Она легко читается, как литературное произведение, и мне казалось, что это и есть настоящее искусство. Алексей Семёнович пытался изменить направление моих понятий об искусстве. Он дарил альбомы совсем далёкие от моих вкусов: Лентулов, Филонов, Тышлер... Такое искусство было за пределами моего понимания.

Тогда пришли в мою жизнь художники-импрессионисты: Клод Моне, Эдуард Мане, Писсарро, Сезанн, Ван-Гог... Во мне боролись противоречивые ощущения: мне не нравился открытый мазок кисти, но я не могла не чувствовать всей красоты, воздушности, наполненности светом этих картин, и во мне спорили привычное гладкописное творчество классиков с этим новым прекрасным «безобразием», каким многим поначалу казалось искусство импрессионистов.

Мне было 18 лет. У меня появилось много вопросов, среди которых самые главные: за-

чем мы живём, если всё кончается смертью? Зачем искусство? Что такое коммунизм, и возможен ли он на всей земле? И ещё много чего волновало мою голову, в которой было, как на свалке, всего и всякого...

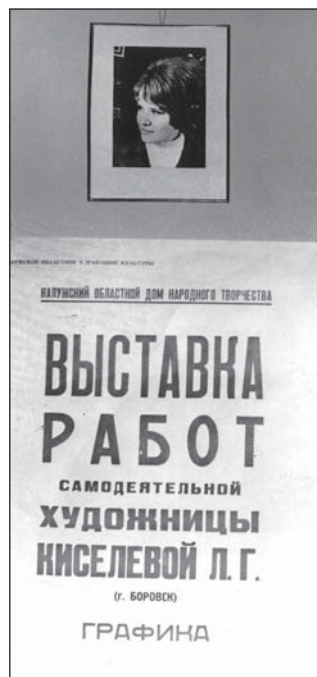
В школьном возрасте я пережила трепетное волнение вступления в пионеры, в комсомол, свято веруя во всё, о чём мне рассказывало радио — мой единственный источник информации о жизни страны. И жизнь эта казалась мне торжественной, правильной, осмысленной для каждого гражданина. И вдруг — эти вопросы, смущавшие моё сознание, разрушавшие мои укрепления.

Я смотрела альбомы известных художников и думала: зачем мне рисовать? Я никогда не буду большим мастером. Кому нужны такие рисунки, как мои: пейзажи Боровска с натуры, портреты моих подружек, натюрморты из цветов и фруктов?

Алексей Семёнович уверял, что надо сделать выставку моих рисунков в Боровске, что работы достойны того и это важно для города. Я слушала это с кислой физиономией, ни минуты не веря, что это нужно. Теперь-то я понимаю, что так он хотел вдохновить меня, чтобы я в себя поверила.

Когда Алексей Семёнович впервые пришел в районный отдел культуры и предложил устроить мою выставку, тогдашний заведующий отделом замахал руками в ответ: мол, у нас никогда их не было, и не знаем, как их устраивать, и как работы оформлять, и как и куда их вешать...

Дом культуры находился тогда в очередной переконструированной церкви, у которой только колокольню не снесли — денег не хватило, так и стоял этот «чудо-гибрид» архитектуры, который являлся дипломной работой местного инженера-строителя. Снесённые главки куполов, спрямлённые стены под со-



Районный ДК — место проведения моей первой выставки.





На открытие выставки
пришло много зрителей,
для которых главным в моём
творчестве было узнавание
боровских улиц, жителей...
И я думала: а если выставка
будет в другом городе,
кому она будет интересна?



временный архитектурный стиль «коробки», огромный навес, выступающий над подъездом, и над всем этим — полуразбитая колокольня, конечно, без креста и купола.

Как странно, что когда уродуется что-то в атмосфере общества, в его сознании, в его идеалах, то в первую очередь это сказывается на архитектуре. По градостроительству всегда можно определить уровень интеллектуального, душевного, духовного состояния общества, действующей в нём власти.

Вот в этом здании в 1965 году и решено было устроить мою выставку. Для горожан, конечно, это было событием, и потому на открытие пришло много зрителей, для которых главным в моём творчестве было узнавание боровских улиц, жителей... И я думала: а если выставка будет в другом городе, кому она будет интересна?

В то время я впервые увидела цикл работ литовского художника Стасиса Красаускаса, и эта встреча развернула моё творчество в иную сторону и повела по своей дороге. Это не понравилось Алексею Семёновичу. Он считал такое творчество «литературщиной». Скорее всего, это так и есть, но в глубине искусства Красаускаса я нашла тот космический лейтмотив, который тогда был близок мне, как и строки Межелайтиса: «В шар земной упираясь ногами, солнца шар я держу на руках».





Зиме — конец!



Творчество литовских художников и поэтов в те годы глубоко захватило меня. Это было связано с ещё одним человеком, который появился в моей жизни. Слава Черников пришёл ко мне 18-летним. Он застенчиво показывал мне свои этюды маслом, и в глазах его стоял вопрос: выйдет ли из меня художник? Я не знала, что ему ответить. Его работы не от-

Удивление

Что же было моё
в этом творчестве?
ОТНОШЕНИЯ
между всем этим,
ОТНОШЕНИЯ
любви и добра,
ОТНОШЕНИЯ
неприкосновения,
чтобы не разрушить,
не повредить, не убить.



личались от обычных учебных. Я проямлила ему что-то среднее между «давай-давай!» и «может быть». А через несколько дней судьба его решилась без моего участия: Славу призвали в армию. Ему повезло служить в Литве — у него была возможность в каждое увольнение ходить по музеям. Вот тогда я и убедилась, что Слава — художник. Художник — это не рука с кистью или карандашом. Это восприятие мира. Слава рассказывал мне обо всём, что видел, и я уже уверенно поддерживала его стремление посвятить себя искусству.

После армии Слава попытался поступить в художественное училище в Москве. Не приняли. В это время в Калужском культпросветучилище открылось отделение художников-оформителей, куда Слава легко поступил.

Славин творческий потенциал оказался бездонным. Я вспоминаю слова Экзюпери: «Слишком много в мире людей, которым никто не помог пробудиться». Так могло случиться в юности и со Славой, когда московские педагоги не заметили его дара. Дизайнер, великолепный иллюстратор и взрослых, и детских книг, журналов. Но самое главное его достоинство — готовность к соучастию в творчестве других людей, авторов книг. Сам о себе Слава говорит: «Я счастливый человек! Занимаюсь любимой работой, да ещё и зарплату за неё получаю!»

Со Славой Черниковым пришли ко мне литовские художники, один из которых — Чюрлёнис — стал любимым навсегда. С Чюрлёнисом я училась абстрагироваться от конкретных предметов, поднимаясь от их изображения к постижению смысла бытия.

Я считала: мои новые работы — это то, что я могла, умела и хотела реализовать как художник, педагог и философ. Через эти рисунки я нашла свою тему и укрепились в своём направлении в творчестве. Мне уже не нужно было повторять в наихудшем виде классические варианты передвижников, копировать манеру импрессионистов и других художников. Я хотела показывать мир через реальное, конкретное — к обобщению, доведённому до символа, но не хотела подражать никому.

В то же время мне встретились рисунки Нади Рушевой, в которых меня поразила лёгкость линий, — я так не умела, но её линия, как ниточка, потянула меня за собой, и этой «ниточкой» я стала плести свои кружева рисунков о самом простом на земле, самом доступном

Экзюпери говорил:
«Слишком много в мире
людей, которым никто
не помог пробудиться».
Так могло случиться
в юности и со Славой
Черниковым, когда
московские педагоги
не заметили его дара.



Прощание



для каждого зрения, для каждого сердца, что было всегда во всяком искусстве: я предлагала любоваться этим миром, данным нам свыше: цветы, дети, женщины, птицы, бабочки...

Что же было моё в этом творчестве? **ОТНОШЕНИЯ** между всем этим, **ОТНОШЕНИЯ** любви и добра, **ОТНОШЕНИЯ** неприкосновенения, чтобы не разрушить, не повредить, не убить.



Когда в 1977-1978 годах по городам Советского Союза прошла моя вторая персональная выставка, состоявшая из этих фантазийных рисунков, мне пришло множество писем-отзывов, но среди всего и всякого запомнилась 15-летняя девочка с длинной светлой косой, с голубыми глазами, глядящими исподлобья, без улыбки на лице. Она приехала из другого города, молча вошла в мой дом и сказала только одну фразу: «Я пришла посмотреть на человека, который рисует такие картины». Потом она рассказала, что её душу гнетет тоска бессмысленной жизни, что она приходит в зал, где висят мои рисунки и часами сидит, глядя на них. Так она «лечилась» от своей печали.

А вот как лечилась я от той «мировой скорби», которой заболела в юности. Эта была встреча с рассказом Чехова, его названия я не помню. Этого писателя я тогда очень полюбила, взахлёб перечитывала его письма, открывая его



Неприкосновение



Семнадцатилетие



Иван Васильевич Евстигнеев,
народный художник по званию,
по состоянию души — интеллигент.

Он часто приезжал в наш дом,
чтобы рисовать,
рисовать, рисовать...

Я увидела, с какой любовью
он открывает этюдник,
нюхает краски и как он вздыхает,
когда на дворе непогода
и нельзя идти на этюды...

как личность, изучала его биографию в разных журнальных источниках. Его творчество — рассказы, пьесы и всякое слово о нём — было мне так дорого и интересно, что я выписывала в тетрадь целые страницы. Впоследствии я полюбила творчество Марины Цветаевой, постигая глубину её поэзии и прозы, её характера, её жизнь, отыскивая и в её судьбе ответы на свои вопросы о смысле жизни.

Пьесы Чехова я видела в хорошем театральном исполнении по телевизору, который был с одной программой, но интереснее, чем теперь с десятками каналов. Сам по себе тот чеховский рассказ — не из самых известных и состоял всего из диалога молодого и пожилого человека о смысле жизни.

По прошествии многих лет я стала замечать, видеть, слышать невидимые послания-ответы на вопросы моей души. Особенно это ощущается сейчас в зрелом возрасте. Я «читаю» эти послания в молитвах преподобного Серафима Вырицкого на каждый случай моей жизни, в рассуждениях пришедшего ко мне человека. Меня всегда поражало, что на всякий духовный вопрос, который я ещё не успела произнести, приходивший ко мне духовник уже приносил ответ. Но это потом.

А в юности вопросы требуют прямолинейных и скорых ответов, и, вероятно, поэтому в мою жизнь пришел ещё один человек, который принёс богатство своей жизни, своего опыта, своих открытий, вкусов, интересов, — это Иван Васильевич Евстигнеев, народный художник по званию, по состоянию души — интеллигент. Он стал мужем моей тёти Вари, живущей в Москве, когда им обоим было около 50, и часто приезжал в наш дом, чтобы рисовать, рисовать, рисовать... Я увидела, с какой любовью он открывает этюдник, нюхает краски и как он вздыхает, когда на дворе непогода и нельзя идти на этюды, и как



терпеливо он сносит ворчание жены, что он краской испортил очередную рубашку.

Глядя на Ивана Васильевича, я поняла, что такое художник. Это не тот, кто рисует, пишет картины — это человек, всеми пятью чувствами впитывающий в себя весь мир, как в сосуд, собирая все соприкосновения с ним и уже внутри себя, каким-то тайным зрением и слухом души смешивая палитру красок, цветов, звуков, птичьих голосов, звёзд, снегопада, дождя, выплёскивает в мир своё творение в виде картины, музыки, стихов...

Иван Васильевич обожал старый древний сказочный Боровск, который был неповторимым русским городком с его улочками и закоулками, где всё на горе или под горой, где дома то взлетают вверх, то ныряют вниз, как бы ни был запущен город с его булыжной мостовой, с его лужами, покосившимися изгородями и заборами. В непричёсанности, неподстриженности, невыверенности его дорожек и тропинок, в его дико растущих цветах и деревьях и была вся та поэзия красоты, к которой стремились художники всех времен.

Это было время брожения умов, время возможности появления новых неизвестных та-

Иван Васильевич обожал старый древний сказочный Боровск с его улочками и закоулками, где всё на горе или под горой, где дома то взлетают вверх, то ныряют вниз, с его булыжной мостовой, с его лужами, покосившимися изгородями и заборами.



Чаепитие.

Слева направо: я, мама, папа и Иван Васильевич Евстигнеев.



Я считала:
мои новые работы —
это то, что я могла, умела
и хотела реализовать
как художник, педагог и
философ.
Через эти рисунки
я нашла свою тему
и укрепилась в своём
направлении в творчестве.



лантов на сцене, в литературе, в искусстве...
Люди встречались в телестудии «Останкино»
с молодыми и умудрёнными поэтами, писате-
лями, музыкантами...

Начинающий поэт Андрей Вознесенский
будоражил своим необычным ассоциатив-
ным строем стиха так, что мне, привыкшей
читать Асадова, а позднее Симонова, Туш-
нову, Друнину, творчество таких поэтов каза-
лось безумным, но когда мы вместе с Иваном
Васильевичем, как ребус, разбирали по ко-
сточкам организм его стихотворения из цикла
«Итальянские гаражи», то всё оказывалось на
своих местах, всё было понятно и доступно
моему уму — так Иван Васильевич шлифовал
мои интеллектуальные способности.

С ним можно было говорить обо всём, я
ждала и боялась встреч с ним. В нашем об-
щении была и музыка, и поэзия, и политика,
и юмор. Я могла задать ему любой вопрос,
но я не умела задавать вопросы. Мои мозги
были «куриными», но гордость была больше
мозгов, я робела спрашивать, чтобы не по-
казаться глупой. Я стеснялась участвовать в
диалоге, и потому наше общение в основном

было монологом в один его голос. Слушала я его с упоением, потому что он отвечал на все скрытые во мне вопросы, ответы на которые я искала в книгах.

Жизнь была мудрёнее нестандартными ситуациями, мне уже открылась её двойственность, тройственность, когда люди говорят не то, что думают, и делают не то, что говорят. На этот внутренний «раздрай», «растроенность» я тогда ещё не находила ответа, ещё далеко было то время, когда пришли ко мне книги иного мира, того невидимого, который я только предчувствовала: книги о Божьем домостроении, человеческой повреждённости и возможности духовного возрождения.

Я робела задавать свои вопросы Ивану Васильевичу, опасаясь его ироничности, его шутовскости. Мне странным казалось, что с его интеллигентностью, деликатностью, с его эрудицией, его глубоким умом рядом жила неприязнь к искусству других мастеров, не похожему на манеру и стиль его творчества. Он не принимал художника Ренуара, посмеиваясь над его женскими портретами, а открытый мазок Ван-Гога вызывал у него недоумение, и такое исполнение он называл картинами «в струпьях».

Опасаясь своей речевой бессвязности, я боялась, что он посмеётся над моими словами, моим косноязычием, моими вкусами, как он посмеивался над тем, что видел по телевизору, над любимыми мной импрессионистами, над современными композиторами, над многим тем, что мне нравилось. Я молча проглатывала обиду за всех, и это тормозило моё доверительное отношение к нему, которое поначалу соединило нас.

Он долго потом не понимал, почему я замкнулась, а я не умела объяснить свою закрытость, и теперь, спустя многие годы, я молюсь за него с виной перед ним, вспоминая, как он переживал мою отчуждённость, как пытал



Когда в 1977-1978 годах по городам Советского Союза прошла моя вторая персональная выставка, состоявшая из фантазийных рисунков, мне пришло множество писем-отзывов.



свою жену: «Варя, а почему Люся перестала мне письма писать? Что я сделал не так?..»

Когда вспоминаю об этом человеке, моё сердце болит от запоздалого раскаяния. Теперь-то я понимаю, что он не насмеялся, а восставал против пошлости, примитивности, прямолинейности, которые часто сливались с экранов телевизоров, а чистота его души искала и чистых отношений между людьми, и, может быть, моя юная непосредственность, бесхитростность были ближе его душе, чем заумные беседы с коллегами-профессионалами.

Иван Васильевич умер неожиданно и тихо, во сне. Он был известным художником-баталистом, его картины находятся во многих музеях страны и за границей.

В то время человек искусства находился под давлением советской идеологии. Вспоминается случай, который символичен для тех лет. Иван Васильевич работал над картиной «Ополченцы». Сколько тогда ушло добровольцев на фронт, ушло навсегда, погибнув в первые дни войны. И художник построил свою композицию так, что строй отряда уходил от зрителя в глубь картины, исчезая вдали. На художественном совете картину забраковали, определив её как пессимистичную, не выражающую победоносного настроения, и постановили повернуть строй ополченцев лицом вперёд, на зрителя. Возражения художника не рассматривались. Это была заказная работа, и не выполнить её можно было, только потеряв место в студии им. Грекова, где Иван Васильевич работал. Требование было выполнено, и такая ломка художника была свидетельством советского времени. Наверное, поэтому Иван Васильевич любил до самозабвения писать цветы, просторы, те уголки земли, где он чувствовал себя свободным.

Последние годы я часто думаю о желанной возможности встретиться со всеми, кто ушёл с

земли в места обетованные, неведомые, чтобы обнять всех, перед кем чувствуешь себя виноватой, кто душой был привязан ко мне, а моё сердце порой отстояло далеко от этих людей.

Спустя годы, позвонив однажды Алексею Семёновичу Айзенману, я услышала от его дочки, что он умер от рака, что он очень любил меня и очень ждал моих писем. Письма я перестала ему писать, когда умерли мои родители, когда волна совсем другой жизни накрыла меня, когда надо было выживать в заботах о том, кто подхватит меня на руки, кто понесёт, кто будет заботиться о нашем доме, кому я буду нужна, а кто будет ждать моей смерти, чтобы войти в этот дом... Это было время отсутствия меня в себе: жилось, как жилось, как день случится. Тогда и оборвалась связь с моим любимым педагогом. Он писал безответно, и на все его письма я однажды ответила одним, сердитым, без прикрас, обозначив моё положение. Он перестал досаждать мне своим вниманием, и я облегченно вздохнула, что ничего ему не должна. И какую же мерою сегодня измерить мою вину?

Сегодня, когда я нахожусь на кончике этой земной жизни, я раздумываю о том, какими неблагодарными бываем мы к любящим нас людям, посланным нам в помощь, в утешение, в научение, а более всего неблагодарны мы Богу, пославшему их нам.

Но тогда я только начинала жить, и я ничего этого не понимала.

Сегодня,
когда я нахожусь
на кончике этой земной
жизни, я раздумываю
о том, какими
неблагодарными
бываем мы к любящим нас
людям, посланным нам
в помощь, в утешение,
в научение, а более всего
неблагодарны мы Богу,
пославшему их нам.







не уступать себя печали

*Неважно,
сколько раз
вы можете упасть,
важно, сколько раз
вы можете
подняться.
Быть
опрокинутым — да,
но уметь и встать:
Припав —
оторваться, пропав —
воскреснуть.
Марина Цветаева*

Я всё так же сидела у своего окна. Оно было для меня выходом в пространство моей будущей жизни, которая казалась бесконечной, потому что я была юной, потому что за окном была весна и душа была полна ожиданием будущего.

Впрочем, весна начиналась с действия, и оно было для меня почти ритуалом. В нашем старом доме были двойные рамы на окнах, и каждый раз с наступлением тепла зимние рамы вытаскивались с треском, осыпаясь клочками ваты, мелкими тряпочками, а то и целыми чулками, которыми были заткнуты щели между рамой и подоконником. Я требовала немедленно распахнуть окно, а отец ворчал, что я простужусь, и так препираясь, мы всё-таки окно распахивали — и свежий воздух, врываясь в дом, волновал мою молодую кровь радостью непредсказуемого.

Именно это чувство потом выразилось в моём рисунке «Девочка-Весна и ветер», в котором юное существо трепещет от прикосновения шаловливого ветра, не зная, что будет дальше.

Моё чувство
переполняло меня,
и так спешило
выплеснуться,
и так требовало
реального воплощения,
что родились ещё
две картины,
одна из которых
называлась «Двое».

Двое



Ещё тринадцатилетней девочкой я узнала этот трепет от белозубой улыбки и бездонных глаз мальчика Юры, который иногда появлялся в нашем доме, будучи нашим родственником, и до 15 лет я каждый раз ждала его появления, вздрагивая от его голоса, его глаз и нечаянного прикосновения руки. Он был старше меня на 5 лет. И когда я находилась в Ленинграде, а он служил в армии, то писал мне письма с размышлениями о жизни, о её смысле, о своей будущей профессии, призывая и меня задуматься об этом. Наверное, он чувствовал моё тайное отношение к нему, но я была всего лишь родственница, девочка со стриженными волосами, конопатым носом, и моё женское существо, свёрнутое в бутон, ничем не могло привлечь его. Он был глубоко влюблён в свою ровесницу, и я знала об этом со стороны. Моё растущее женское сердце разрывалось от ревности к неведомой девушке, но, когда он женился, я уже спокойно приняла этот факт.

Сердце моё почти никогда не пустовало в безлюбном состоянии. Какие бы вопросы ни волновали мою голову, сердце жаждало всегда одного: мечтать, видеть, слышать, ждать, трепетать, искать встречи с тем, кто неожиданно появлялся в моей жизни и казался единственным, незаменимым, неповторимым, необходимым на всю жизнь до самой смерти.

Жажда любить в 19 лет обрела объект для новой радости и новых страданий. Мой ровесник жил в Венгрии. В то время модно было переписываться с иностранцами из дружественных государств: чешские, польские, югославские, венгерские фотографии и адреса девушек и юношей передавались через международные клубы всем желающим переписываться с заграничной молодёжью, а те в свою очередь жаждали изучать русский язык в практической переписке.



Моего друга звали Пётр Ошман. Мы удивительно быстро нашли общие темы, одной из которых был интерес к космосу. В эти годы уже запускались спутники, и готовился полет Гагарина, чтобы весь мир подпрыгнул от радости советского научного достижения, а советский народ долго бушевал от собственной гордости покорителя космоса. Мы с Петром тоже радовались чему-то необычному, что происходило на нашей земле. Он писал, что хочет когда-нибудь умереть в ракете, летящей к дальней планете, а я отыскивала в библиотеке книги совсем другого содержания, чем прежде. Я хотела знать, как устроен этот мир, как влияет Солнце на планеты, о мечтах Циолковского, прожившего в Боровске 12 лет, о расселении людей во Вселенной в мечтах философа Фёдорова, тоже жившего в нашем городе... Я совсем далека была от понимания той Вселенной, которая существует внутри каждого из нас, я не ведала о том домоустройстве, в котором мы все живём наощупь в поисках самих себя в этом бесконечном мире.

Пётр удивительно точно владел каждым словом русского языка, и я невольно научалась от него правильному, чёткому, краткому построению фразы. Познавая с младенчества свой язык, мы не всегда способны говорить на нём и бываем либо многословны, не умея выразить свою мысль, либо лексикон наш сводится к набору слов Элочки-людоедки.

Мои дни превратились в дни ожидания почтальона, и если приходило письмо из Будапешта, то это был самый счастливый день. Я не рассказывала Петру о том, что больна, мне хотелось побыть обычной девушкой и узнать, как общаются парни с обычными девчатами. Вскоре в наших письмах появилось нечто, что было поначалу тайной, но однажды облеклось в слова признания, симпатии друг к другу, а ещё позже в заветные слова «я лю-



Петр Ошман из Венгрии.

Сердце моё почти никогда
не пустовало
в безлюбном
состоянии.
Какие бы вопросы
ни волновали мою
голову, сердце жаждало
всегда одного: мечтать,
видеть, слышать, ждать,
трепетать, искать встречи
с тем, кто неожиданно
появлялся в моей жизни
и казался единственным,
незаменимым,
неповторимым,
необходимым
на всю жизнь
до самой смерти.

Тогда я не знала
и не понимала, что есть
другое небо, с другими
светилами, с другими
звёздами, как звезда
Вифлеемская,
а свет — Божественный.
И если душа человеческая
захочет стяжать этот свет
благодати, то человек
душой воспарится до такой
радости духовной внутри
себя, которая необъятнее,
чем та радость, что была у
меня на картинке.
И тогда мир не сужается
до пределов самого
себя, а расширяется в
бесконечном пространстве,
обнимая весь мир самим
собой, своей любовью.

блю тебя». Мы не могли прикоснуться друг к другу руками и видели друг друга только на фотографиях, которые он не очень любил посылать мне, считая себя некрасивым, но были близки какой-то неведомой энергией, пронизывающей скрытое глубоко в нас внутреннее существо. Я не могла не чувствовать, что он влюблён в меня, как и я в него, и моя совесть мучилась собственной тайной моей инакости.

А когда я, наконец, решилась на признание, Пётр проявил бурную активность в поисках моего лечения в своей стране, и однажды он мне сообщил о некоем институте, который является не столько медицинским, сколько педагогическим, обучая неходячих ходить, и убедил меня преодолеть все препятствия, чтобы приехать в Венгрию лечиться. Мне казалось это сумасшествием, но в его убеждении было столько твёрдости, что я подвиглась, начав с приобретения русско-венгерского словаря. Мои друзья подшучивали, что первое слово, которое я должна выучить, — слово «сало», чтобы меня поняли и покормили. Началась моя переписка с институтом, который затребовал мои медицинские документы. Меня страшила встреча с Петром, но расстаться с ним было ещё страшнее.

Наша космическая пора взаимного «улёта» выплеснулась в мой фантазийный рисунок под названием «Лунный вальс»: двое, он и она, в танцевальной позе на земном шаре, освещённые лучом невидимого светила, окружённые звездами. Так бывает в любви, когда живёшь только друг другом и больше нет никого, потому что нет ни в ком нужды, ибо двое — как одно целое.

Тогда я не знала и не понимала, что есть другое небо, с другими светилами, с другими звёздами, как звезда Вифлеемская, а свет — Божественный. И если душа человеческая захочет стяжать этот свет благодати, то человек





Это была пора моих первых графических работ, которые изображали не ту детскую придуманную жизнь красавиц, а мою жизнь, сегодняшнюю.

Первое горе

душой воспарится до такой радости духовной внутри себя, которая необъятнее, чем та радость, что была у меня на картинке. И тогда мир не сужается до пределов самого себя, а расширяется в бесконечном пространстве, обнимая весь мир самим собой, своей любовью.

Моё чувство переполняло меня, и так спешило выплеснуться, и так требовало реального воплощения, что родились ещё две картины, одна из которых называлась «Двое», другая «Первое горе». Это была пора моих пер-

вых графических работ, которые изображали не ту детскую придуманную жизнь красавиц, а мою жизнь, сегодняшнюю.

Картина «Двое» — совсем юные парень и девушка застенчиво стоят поодаль друг от друга, прислонившись к проёму подъезда, откуда-то с улицы или с небес льётся свет, освещая силуэты их фигур, то ли лунный, то ли электрический. Никакого действия нет, только радость неприкосновенной встречи.

На другой картине, «Первое горе», — противоположное настроение: фигура девушки во весь рост, и в силуэте её — боль, обида, словно она претерпела какую-то потерю. Она припала к деревцу, которое само такое тонкое и хрупкое, что готово сломиться, и эта ненадёжность обоих, и ветер, треплющий подол её платья, и ветви деревца, и рваные облака на небе, закрывающие луну, и примятая трава — всё неустойчивость, несчастье, утрата равновесия мира. Лица девушки не видно — оно против света и закрыто развевающимися волосами, плечи её горестно сжаты. Фигура выглядит уже по-женски округлой и зрелой, но верхняя её часть — как у девочки-подростка. Это противоречие подчёркивает недетское горе ещё не взрослой женщины, которое она переживает наедине с собой, пряча свою женскую беду.

Эти картины попали на первую в моей жизни всесоюзную выставку самодеятельных художников в Москве.

Тогда я сомневалась в своих творческих силах, я не считала себя художником и не верила словам Петра, который пророчил, что я буду известной художницей и обо мне будут знать во всём мире.

Прошли долгие годы друг без друга, наши пути начали расходиться, когда я почувствовала, что у него есть девушка, и я долго горько плакала и о несостоявшемся лечении, и о несбыв-

шейся встрече, и о том, что двоим людям надо быть вместе не эфемерно, и мой рисунок «Первое горе» стал пророческим для меня самой.

У Чехова есть рассказ «Дом с мезонином», в котором двое любящих расстаются, теряются, и в конце рассказа герой произносит фразу: «Где ты, Мисюся?» Вот так и мне теперь, когда Петру тоже около семидесяти, если он жив, хочется воскликнуть на весь мир: «Где ты, Пётр?»

Мои рисунки разлетелись по свету и стали любимы многими, кто увидел их, чьё сердце откликнулось, прикоснувшись к моему. Ах, если бы хоть один мой рисунок увидел Петр теперь, через многие годы!

Тогда, в своём последнем письме, после долгого моего молчания, он ответил, что стал забывать русский язык, не имея возможности общаться со мной, и что если я хочу поддерживать связь, то будет хорошо, если переписка станет регулярной. Но уже пришло время, о котором писал мне близкий друг Петра Николай в дни расставания и боли, утешая меня, что любовь моя пройдёт и так же, как и Петра, я полюблю другого, и новая любовь покажется мне вечной и единственной.

Моя рана от расставания ещё долго болела, сердце не верило в будущую любовь. Я никогда не плакала на виду у своих родителей, но тоску свою скрыть не могла. Мама в течение всей моей жизни, сочувствуя мне, но пытаясь увести меня, как животное уводит от опасности своего детёныша, резко внушала мне, что я не должна даже думать о какой-то там любви, что моё дело, моя жизнь — это рисовать, вышивать, писать... И чем больше она пыталась воспитать меня бесполой, убить во мне женское начало, тем больше моя женская природа расцветала во мне.

Это была пора модных раскосых глаз, и с помощью косметики я «рисовала» свои глаза,



Вишня в цвету

Мама в течение всей моей жизни, сочувствуя, но пытаясь увести меня, как животное уводит от опасности своего детёныша, резко внушала мне, что я не должна даже думать о какой-то там любви, что моё дело, моя жизнь — это рисовать, вышивать, писать...

И чем больше она пыталась воспитать меня бесполой, убить во мне женское начало, тем больше моя женская природа расцветала во мне.

Это была пора модных
раскосых глаз,
и с помощью косметики
я «рисовала» свои глаза,
как когда-то на детских
картинках. Я вздымала
немыслимой высоты
причёски, нещадно
начёсывая свои волосы.
Я сочиняла сама для себя
модели одежды, поскольку
стандартные платья не
подходили моему телу.
Я стремилась украсить себя
тем, что было и модно,
и подходило мне —
я всегда должна быть
готовой к тому, что в дом
придёт кто-то, кто будет
сражён моей красотой
и станет моим близким
и любимым.



как когда-то на детских картинках. Я вздымала немыслимой высоты причёски, нещадно начёсывая свои волосы. Я сочиняла сама для себя модели одежды, поскольку стандартные платья не подходили моему телу. Я стремилась украсить себя тем, что было и модно, и подходило мне — я всегда должна быть готовой к тому, что в дом придёт кто-то, кто будет сражён моей красотой и станет моим близким и любимым. И близкий и любимый не замедлил появиться.

Наступало время моего 25-летия. Мои боровские выставки привлекли ко мне много людей, они приходили и уходили, но те, кто оставался, становились друзьями, и я прорастила их жизнью, их радостями и бедами. Чуть раньше я поняла, что если я в беседах буду говорить только о себе, то очень скоро останусь одна, и потому я внедрялась в жизнь других людей, стараясь понять их вкусы, интересы, желания, изучая их характеры, склонности и причины их успехов, неудач, их душевной неустроенности и неуёмных желаний... Так незаметно я постигала психологию и потом на долгие годы укрепились во мне, что я могу и умею помогать людям разобраться в самих себе — в сложившихся ситуациях, в своих проблемах, научить действию, а порой кого-то и соединить в браке, как мне казалось, очень удачно.

Через годы я пойму, что жизнь — не шахматная доска и не моей волей строятся судьбы людей, что мои представления о добром деянии могут быть ложными и обернуться драмой и для меня самой, и для тех, в ком я принимала участие.

Наши поступки часто совершаются под влиянием эмоций и по недомыслию. Мы не видим, как складываются обстоятельства, в которых нам надо участвовать, а не убегать от них, как Бог посылает нам людей, с которыми

нам надо быть, а мы хотим избавиться от них, как нам надо решать проблемы нашей души, а мы решаем проблемы нашего тела, как нам надо научиться любить другого для него, а не для себя.

Мое сердце никогда не находилось в безлюбовном состоянии, оно искало того, к кому прикоснуться. Кто-то должен был появиться в этот миг ожидания.

На пороге моей судьбы возник Володя Трошин. О нём я услышала от друзей, которые восхищались им, его веселым нравом, его музыкальностью, его педагогическим талантом, — он преподавал математику и физику, владел классом так, что у него не было лодырей и отстающих. Он играл на аккордеоне и на гитаре, он пел так, что замирали женские сердца и каждая мечтала быть с ним. А он был ни с кем.

Он жил вдвоём с матерью в дощатом домике, который являлся одновременно водоразборной будкой, где жители близлежащих улиц брали воду. Домик был сырой, и в детские годы Володя заболел нефритом, о чём мало кто знал, видя его постоянно в приподнятом настроении.

Приближался мой день рождения, и я пригласила Володю, все ждали его, а он не пришёл. Это было для меня неожиданным ударом. Без него застолье стало унылым и для меня, и для всех моих друзей. И так было всегда: где появлялся Володя, там был смех, шутки, веселье, песни, музыка и какая-то особая атмосфера радости, которая исчезала, как только за ним закрывалась дверь. Несколько лет я так и жила: на порог Володя — в дом радость, он за дверь — приходит тоска.

Даже моя мама, которая не очень любила, когда в доме собирались компании и с опаской смотрела на парней как на объект тревоги за меня, очень сильно залюбила Володю. Она не очень-то расположена была угощать приходя-



Володя Трошин.
Мне льстило его особое
внимание ко мне.

Я думаю, что в нашем
доме Володя нашел
то посвящение себя,
без которого человеку
бессмысленно жить.
Он скорее опекал меня,
чем любил.



щих ко мне, но выставляла на стол для него всё, что имелось в доме. И если у меня собирались большие компании и не только пелись песни, но велись интереснейшие беседы о литературе, о музыке, искусстве, дискуссии о новых книгах, то это благодаря ему, который, как магнит, притягивал со всех сторон людей разного возраста, разного уровня культуры, разного понимания жизни, — все сливались в одном: в желании просто быть рядом с ним. Он никому не отдавал предпочтения, и в этом тоже была сила его притяжения — каждая женщина могла надеяться на избранность.

Одна из влюблённых в него женщин, ревнуя к частым появлениям в моём доме, пыталась отвести его от меня увещанием: «И что ты нашёл в этом доме? О чём можно с ней говорить? И что с ней делать, ведь это всего лишь кусок мяса...» И после этого Володя перестал с ней общаться. Мне льстило его особое внимание ко мне. Теперь, когда всё кажется другой жизнью, я думаю, что в нашем доме он нашёл то посвящение себя, без которого человеку бессмысленно жить. Он скорее опекал меня, чем любил, и приводил ко мне своих старших учеников — красавцев-мальчиков, чтобы и они поддерживали «тимуровское движение». Он устраивал для меня концерты, а когда услышал мои восторги по поводу фильма «Старшая сестра» с моей любимой Татьяной Дорониной, выпросил в кинотеатре киноаппарат, мы натянули простыню на стенку, и Володя в качестве киномеханика, ползая по полу на четвереньках, «рулил» аппаратом.

Уроки мамы не прошли даром, я не могла представить себе Володю живущим в нашем доме, мне достаточно было, что он приходил и уходил. Но если он не приходил день-два, я начинала умирать — мне нечем было дышать.

В ту пору со мной подружилась хорошенькая девочка по имени Надя. Она когда-то училась



в школе у Владимира и ещё тогда влюбилась в него. У неё были томные глаза с поволокой, и это делало её похожей на тех, кого в народе называют «роковая женщина». Из всего хоровода дев, которые кружили вокруг Володи, она была единственная девушка, которая, может быть, волновала его сердце. Я тихо ревновала к его взглядам в Надину сторону и с замиранием сердца выслушивала её сердечные переживания. Мне хотелось плакать,

Я не могла представить Володю живущим в нашем доме, мне достаточно было, что он приходил. Но если он не приходил день-два, я начинала умирать — мне нечем было дышать.

слушая её, но мне было любопытно знать, что творится в её сердце.

Страсть всё больше заполняла мою душу, требуя какого-то выхода. И мне неожиданно открылся мир серьёзной симфонической музыки, которую я прежде не желала слушать, спешила выключить радио. Я нашла отклик своим переживаниям в Первом концерте Чайковского. Отчаяние моё отражалось в его Шестой симфонии. Я захлебывалась рыданиями, слушая оперу «Евгений Онегин», страдая вместе с Татьяной Лариной, умирала вместе с Виолеттой из «Травиаты»... Я искала какие-нибудь истории в книгах, рассказывающие об ущербных героинях, чтоб найти ответ и надежду на выход из своей израненности, безысходности. И я нашла такую книгу у Стефана Цвейга: «Нетерпение сердца». Эта история напоминала мою, автор замечательно психологически разрешил ситуацию. Но завершалась она тем, что и мне часто приходило в голову: героиня покончила с собой.

Странное это состояние — погружение в другого человека, ты уже не живёшь собой, ты живёшь его жизнью, тыходишь в него всей своей душой и плотью и становишься его судьбой и присваиваешь этого человека себе, как собственность. Когда случается попытка его освобождения, это воспринимается как разрыв сердца.

Володя собирался поступать в аспирантуру и должен был уехать в Калугу. Это означало для меня утрату не только живого общения с ним, но и всего, что вошло вместе с Володей в мой дом, который враз мне увиделся опустевшим, а жизнь моя становилась никчемной. И тогда, не очень веря, что я смогу это сделать и что мне этого хочется, я стала резать себе вены. Сил у меня было маловато, а бритва тупой, и мама скоро должна была вернуться с работы. Да и свёртываемость крови у меня хо-

рошая. Я не знала тогда, что вены надо резать в горячей ванне, которой всё равно не было в нашей квартире.

Володя прибежал по телефонному звонку моей мамы, посмотрел на меня жуткими глазами, сказал пару «ласковых» слов и ушёл на долгое время, чтобы я его не видела и наконец выздоровела. В Калугу он не уехал, но и ко мне не приходил.

Моя подруга Надя всё поняла и, плача, упрекала меня за скрытность, за утаивание моей любви и корила себя, что была со мной откровенна. Я иногда возвращаюсь к тому времени, размышляя, может, я виновата в том, что не сложилась общая судьба у Володи и Нади, что я стояла преградой меж ними? Может, её жизнь была другой?

Моя жизнь рассыпалась на стёклышки разбитого калейдоскопа. Я была привязана судьбой к своему «седалищному месту», и моей душе негде было отдохнуть от собственного разорения, чтобы опять собрать себя и продолжать жить. Но это была только репетиция будущего, более тяжкого, в котором душе надо было выстоять.

Моя жизнь рассыпалась
на стёклышки разбитого
калейдоскопа.
Я была привязана
судьбой к своему
«седалищному месту»,
и моей душе негде было
отдохнуть от собственного
разорения, чтобы опять
собрать себя и продолжать
жить. Но это была только
репетиция будущего, более
тяжкого, в котором душе
надо было выстоять.



Какие бы печали не
приходили в мою жизнь,
я всегда хотела
быть в «форме» —
с накрашенными глазами,
чтобы не плакать,
с причёской, с улыбкой.

Из выхлопной трубы этого
автомобиля вырывался
дым, как из сопла ракеты,
мотор тарахтел, как у
трактора, покрышки были
лысыми, колёса едва
крутились, но машина всё
же передвигалась.
И в ней сидела я.

Немного раньше этих событий у нас появился старенький автомобиль, из числа списанных в утиль, который мы долго выпрашивали у вышестоящих организаций по месту работы отца. Пришлось пройти несколько инстанций нашими письмами-просьбами вплоть до ЦК на имя Н.С. Хрущева — главы государства, и только с его подачи в Калужский обком партии поступило письмо с указанием принять меры. Так было получено разрешение продать сотруднику Госбанка водителю Киселёву, имеющему дочь-инвалида, в порядке исключения, списанный автомобиль «Москвич-402».

Из выхлопной трубы этого автомобиля вы-



рывался дым, как из сопла ракеты, мотор та-рахтел, как у трактора, покрышки были лысыми, колёса едва крутились, но машина всё же передвигалась. И в ней сидела я.

В ту пору автомобиль был гордостью и свидетельством состоятельности семьи. Отцу пришлось приложить немало усилий и залезть в долги, чтобы отремонтировать его. И тогда я увидела белый свет. Я могла рисовать с натуры пейзажи, которые требовалось представить в университет в годы учебы; я могла отправиться в лес, опуститься на траву, запрокинув лицо к небу, утопая глазами в белой мягкой вате облаков, размышлять о величии жизни человеческого существа, осознающего себя и целый мир вокруг, о чуде жизни — видеть, слышать, дышать, вкушать, осязать...

Я могла посидеть на берегу реки у костра и попробовать, что такое печёная картошка, а не сваренная в печке; я могла наслаждаться запахом трав на лугу, чтобы рассказать всем здоровым людям, как они счастливы, что могут всё это испытывать без автомобиля и радоваться тому чуду, которое у них есть каждый день: чудо свободного перемещения себя в пространстве.

Отец увёз меня вместе с мамой на дачу к моей тётушке Варе, чтобы там, в тишине уединения, среди цветов, огурцов и редиски, под единственной огромной елью, я могла выплакать бездонную чашу горя своей судьбы, своей женской несостоятельности, своей невозможности быть как все. Это было время, когда умер Иван Васильевич, и моя тётя тоже выплакивала слёзы о потере любимого мужа. Я набрала с собой кучу книг, но на даче было так светло и хорошо, так уютно и далеко от всех бед, что я не могла прочитать ни строчки. Словно эпоха безвременья наступила у меня. Я, которая всем подавала советы, как жить, как выходить из сложных ситуаций, не знала,



Отцу пришлось приложить немало усилий и залезть в долги, чтобы приобрести и отремонтировать старенький автомобиль. И тогда я увидела белый свет. Я могла рисовать с натуры пейзажи, которые требовалось представить в университет в годы учебы; я могла отправиться в лес, опуститься на траву, запрокинув лицо к небу, утопая глазами в белой мягкой вате облаков...





Володя привёз свой
аккордеон, чтобы нашу
несказуемость восполнить
пением, все пытались шутить,
фотографировались, и на этих
фотографиях я была сердитая
и насупленная — я чувствовала
себя униженной, зависимой,
и гордыня моя мучила меня.

как смириться мне с обстоятельствами и как снова обрести своё былое «Я».

В тот период, когда проходили выставки моих работ, центральное телевидение снимало фильм о моей волевой, мужественной жизни. Я была неуверенной в себе, я не знала, что буду говорить, когда готовилась к съёмке. Я написала себе десяток шпаргалок с цитатами великих людей, чтобы выглядеть умной, эрудированной, я хотела быть красивой на экране и хозяйкой своей судьбы. И рядом со мной мои родители казались такими маленькими и не важными. Когда прошла передача, один из моих друзей, Саша Черенков, смотревший съёмку, сказал коротко: «Я не слышал ни одного человека, кто бы так уверенно говорил слово “я”». Мои скромные родители были оставлены за пределами моего рассказа о себе, и только горькие раздумья сегодняшних дней постоянно напоминают мне об этом, как о неизбывной вине, которая мучает меня всю мою жизнь.

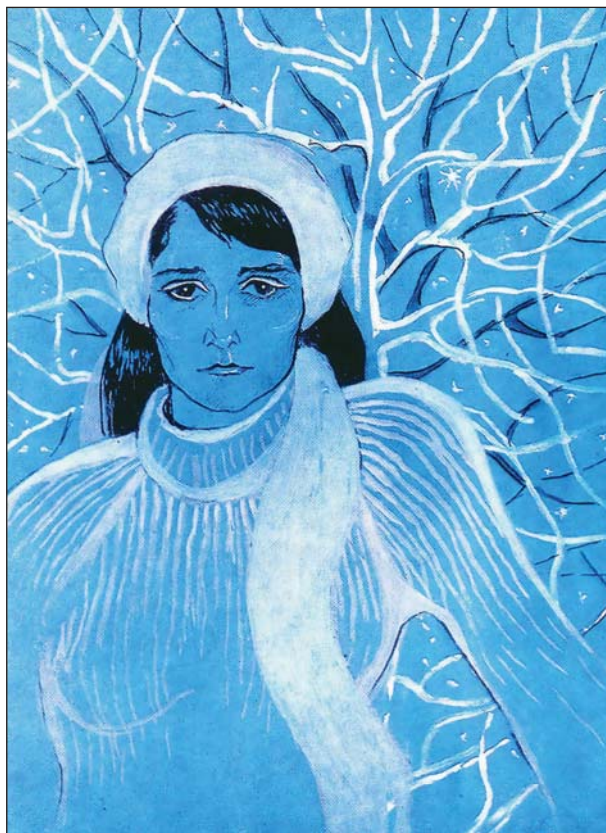
Мои минуты славы не утешали меня тогда, и это поняли мои родители. Когда отец в очередной раз навестил нас на даче, он привёз с собой Володю, уговорив его повидаться со мной. Мы хотели забыть обо всём, что случилось, или сделать вид, что забыли. Тётушка Варя была хлебосольной, и на её столе всегда было всё вкусно.

Володя привёз свой аккордеон, чтобы нашу несказуемость восполнить пением, все пытались шутить, фотографировались, и на этих фотографиях я была сердитая и насупленная — я чувствовала себя униженной, зависимой, и гордыня моя мучила меня.

Вскоре в моей судьбе появилась ещё одна женщина, по имени Татьяна, которая ласково глядя в глаза, мягким голосом пела романсы и была всепонимающей. Мне хотелось рассказать ей свою боль, я делилась с ней своими мыслями о Володе, сама не понимая того, что

своими восторгами и откровениями я вызываю у неё женский интерес к нему.

Неожиданно и скоропостижно у Володи умерла мама, которая всю жизнь заботилась о здоровье сына, придерживая его на обессоленной диете. Её смерть подкосила его, он старался проводить время в семьях своих друзей, которые его любили, пытались накормить-напоить своей солёной пищей. Татьяна тоже окружила его заботой, которая была не только дружеской. Наверное, она по-своему поняла мою привязанность к Володе и решила освободить его из моего «плена». Она уводила его всё дальше от меня своей нежной заботой, попыт-



Сумерки

Центральное телевидение
снимало фильм о моей
волевой, мужественной
жизни. Когда прошла
передача, один из моих
друзей, Саша Черенков,
сказал коротко:
«Я не слышал ни одного
человека, кто бы так
уверенно говорил
слово “я”».
Мои скромные родители
были оставлены
за пределами моего
рассказа о себе,
и только горькие раздумья
сегодняшних дней
постоянно напоминают мне
об этом, как о неизбывной
вине, которая мучает меня
всю мою жизнь.

кой обустроить его новую квартиру, чтоб ему было уютно и тепло, а сама она всегда была бы рядом, необходимая и желанная. Я тогда расценила её поведение как предательство и отошла от неё. Я не думала о том, что она тоже была просто влюблённой женщиной.

Господь разрешил все наши бранные женские проблемы. Однажды Володю срочно увезли в московскую клинику, куда его положили «по блату», — у него отказали обе почки. Его подсоединили к искусственной почке, и жизнь его стала сидяче-лежащей. По вечерам, когда расходились врачи, медсестрёнки, которые тоже успели полюбить Володю, подвозили его на каталке в какой-то кабинет с телефоном, и мои подружки-телефонистки соединяли меня с ним. Мы вели долгие беседы, смеясь над болезнью, над процедурами, над судьбой. Врачи говорили, что без пересадки хоть одной почки, он не будет жить. И так странно было находиться в ожидании,



что где-то кто-то скоро умрёт, чтобы Володе достался орган умершего. Тогда только начинали делать операции по пересадке органов и надежд на продолжительную жизнь было мало, но так хотелось верить, что именно с ним случится чудо.

В дорожной катастрофе погибла 17-летняя девочка, и Володю срочно положили на операционный стол. Операция прошла так успешно, что врачи сами удивлялись успеху. Володю определили в отдельную палату, окружили всевозможными лучами во избежание микробов, потому что ему вводились препараты, подавляющие иммунитет, — только так можно было побороть отторжение чужой ткани. Его нельзя было посещать никому, кроме медперсонала, но он попросил принести его гитару, и ещё целый месяц он пытался выжить. Мы уже не могли говорить по телефону, но он каждый день писал письма, и когда почта запаздывала, я получала в день по два—три письма. Эти письма он писал всем своим друзьям, словно цепляясь за живых, словно питаюсь их энергией. Он не говорил слово «смерть» и не жаловался, когда страдал от боли.

Наступил день его рождения, в который он получил множество писем с признаниями в любви к нему от всех его бывших и настоящих учеников, от влюблённых в него девушек. А на другой день он умер.

И я умерла вместе с ним.

Я словно утратила все пять чувств, которыми ощущают жизнь. Я смотрела — и не видела, слушала — и не слышала. Я пыталась как-то воскресить чувства радости и удивления тем, чему удивлялась всегда — красоте цветов, великому разнообразию их форм, сочетаний красок, всей этой бурной фантазии самого великого Художника — Создателя.

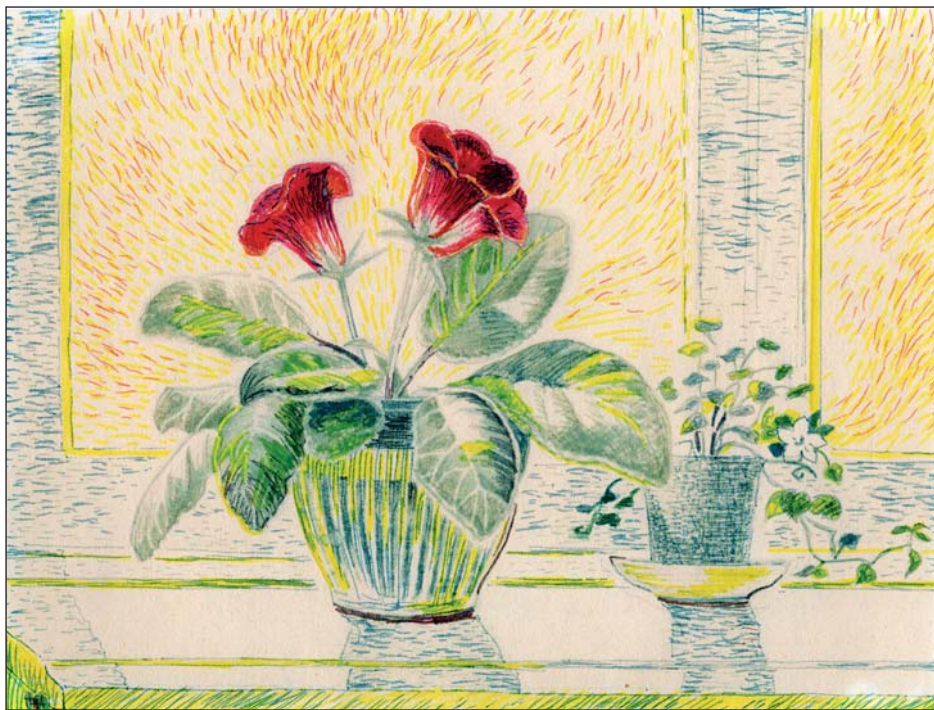
Я брала цветной лист бумаги из набора детских принадлежностей, чтобы у меня за-



Володя Трошин.

Наступил день его рождения,
в который он получил
множество писем
с признаниями в любви к нему
от всех его бывших и настоящих
учеников, от влюблённых в него
девушек. А на другой день
он умер.

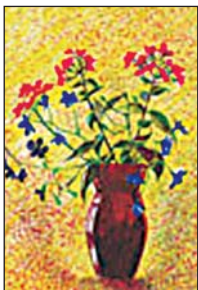
И я умерла вместе с ним.



Лето на окошке

ранее был фон, и темперными красками на ядовито-синем, зелёном, жёлтом, красном я заставляла себя рисовать с натуры тюльпаны, маки, астры, чтобы в их красоте услышать биение жизни.

Когда-то давно мне понравилась притча, я поразились глубиной её философии. Однажды внук спросил деда: «Что такое красота?» И дед ему ответил: «Когда ты услышишь, как в цветке стучит сердце, значит, к тебе пришла красота!» Красота ушла из моего сердца, в нём живо было только страдание. Я смотрела на цветы и думала, что завтра их головки поникнут, почернеют, засохнут... Мне во всём виделась смерть: вот красивый юноша, вот крепкий сильный мужчина и вот безобразный старик в гробу — и это человек, из века в век



одно и то же, и другого ничего в этом мире нет. Зачем?

«Како не имам плакатися, егда помышляю смерть, видех бо во гробе лежаща брата моего, безславна и безобразна? Что убо чаю и на что надеюся?»

Господь ходил рядом со мной, но я не могла с ним встретиться, ибо душа моя была полна уныния, безнадёжности, неверия ни во что: ни в мир во всём мире, о котором вещало мне радио, ни в коммунизм на всей планете, о котором пелись песни того времени, ни в своё творчество, ни в своё счастье, ни в Бога.

Володины друзья продолжали приходить ко мне в попытке веселить меня — мы вспоминали самые смешные истории, связанные с ним, как бы продолжая его жизнь через нашу память, а в моём сознании никак не укладывалась последняя фотография моего друга, лежащего во гробе с неузнаваемым лицом...

Из Калуги звонил каждый вечер Алик Осийук, бывший ученик Владимира Трошина, тихий, застенчивый, он взял на себя самую трудную задачу: утешать безутешное. И своим ежедневным присутствием то по телефону, то



Ученики Володи Трошина -
Женька Трофимов
и Валька Платонов.



Ученики Володи Трошина
со мной после его смерти.





Свадьба Алика Осиюка
и Ларисы Студеникиной.

Прошли годы,
но Алик Осиюк остался мне
верным другом...

при встрече он являл собой возможность того чувства, которое хоть немного смягчало боль, как анестезия: ты не одна, я с тобой. И почти каждый день в своё дежурство на АТС мне звонил Саша Ермолаев — ещё один друг Владимира, по натуре хохмач, и каждый раз наши беседы затягивались на два-три часа с попытками шутить, веселиться, как бы радоваться жизни. Но это «как бы» заполняло не только время в опустошённой душе, но и наполняло её тем чувством, которое было в сердце этого человека — чувством симпатии ко мне и жажды общения.

Я познавала тогда ещё неосознанно, что все мы люди — звенья одной цепи и когда мы вместе, когда мы — одно существо, случается что-то невидимое, тайное: горе растворяется, как капля горькой воды, упав в реку, перестаёт быть горькой.



Я так была благодарна Алику и Саше за участие, что решила скрасить их одиночество, женив обоих на своих одиноких подружках. Одной из них была Лариса Студеникина. Эту девочку я знала с её двух лет, она росла на моих глазах — школьница, студентка, комсомолка, с русой косой, — она была строгих моральных правил, и, уже окончив медицинский институт, начав работать врачом, не находила в этом мире человека, близкого ей душой, с кем хотелось бы быть навсегда. Мне казалось, что она и Алик Осиюк будут идеальной парой. И вот уже много лет они вместе, обрастая детьми и внуками. Моё сердце радовалось за них тогда и тем утешалось. А вот Сашу Ермолаева мне женить так и не удалось, и до сих пор я подшучиваю над его холостяцкой жизнью: «Без меня не можешь ничего».

Когда горящее сердце осиливает свою беду радостью, тогда в нём начинается жизнь. Врачи говорят, что в депрессии человек может находиться до двух лет, а если это состояние переваливает за два года, то это уже диагноз и ему надо к психиатру. Я была за пределами бытия два года, но это я осознала потом, когда выздоровела.

... как и его жена Лариса,
моя подруга.







и мир пришёл ко мне

*В одном мгновенье
видеть вечность,
Огромный мир —
в зерне песка,
В единой горсти —
бесконечность,
И небо —
в чашечке цветка.*

Уильям Блейк

Из Калуги приехал художник, собиравший картины самодея-тельных мастеров для област-ной выставки. Мне нечего было предложить ему. Я доверчиво рассказала о своей депрессии, что, кроме горя, во мне нет другого чувства. Он посо-ветовал: «Вот и рисуйте то, что вы чувствуете, рисуйте своё горе...» И я попробовала ри-совать войну в духе сюрреализма: в нижней половине листа в объятьях друг с дружкой мальчик и девочка — беленькая светловолосая девчушка и чёрный мальчик-негр — а во всю остальную половину листа — раскачавшие-ся во все стороны небоскрёбы, чёрное небо в трещинах, как разбитое стекло — небесная сфера с расколотой луной и осыпающимися звёздами. Такой мне казалась будущая миро-вая война

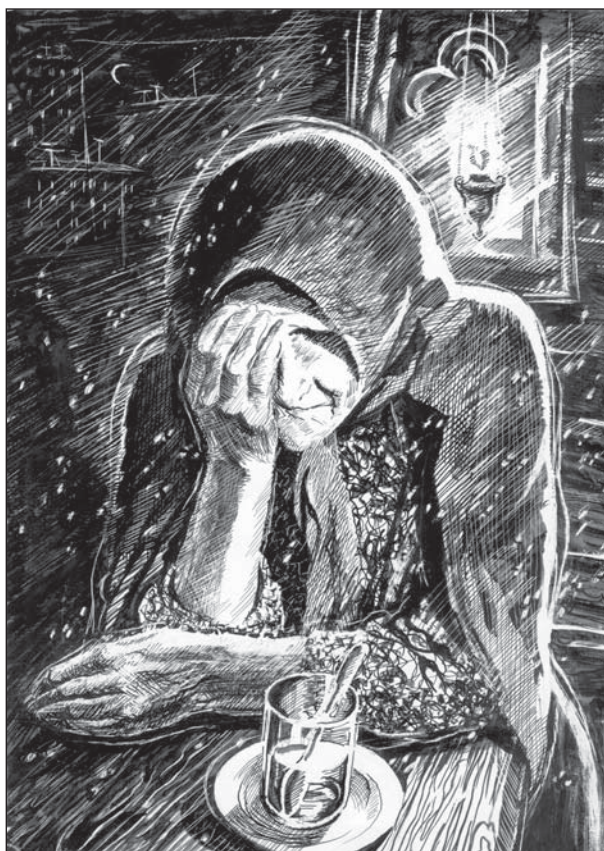
Я не показываю её на выставках. Мне кажет-ся, когда я пытаюсь изображать трагические стороны нашего существования, это получа-ется надуманно, неискренне. Странно, что я, живущая в отрицательных эмоциях, умеющая сочувствовать и оплакивать чужую беду, не

умею рисовать страдания, печаль, изображать зло. Вот разве что картина «Одна»: одинокая старушка, каких много на нашей земле, со стаканом чая на столе и иконой в углу за спиной — горюет о чём-то своём, — о своей старости, немощности, ненужности никому. Даже к иконе она повёрнута спиной. Вот так и я — ни с кем, ничья.

Моё пробуждение длилось так долго, что я и не заметила, когда и как это случилось и как родились мои новые рисунки.

Когда меня спрашивают, как я находила свои темы и воплощение их в образы на рисунках, я никогда не могу ответить на этот во-

Одна



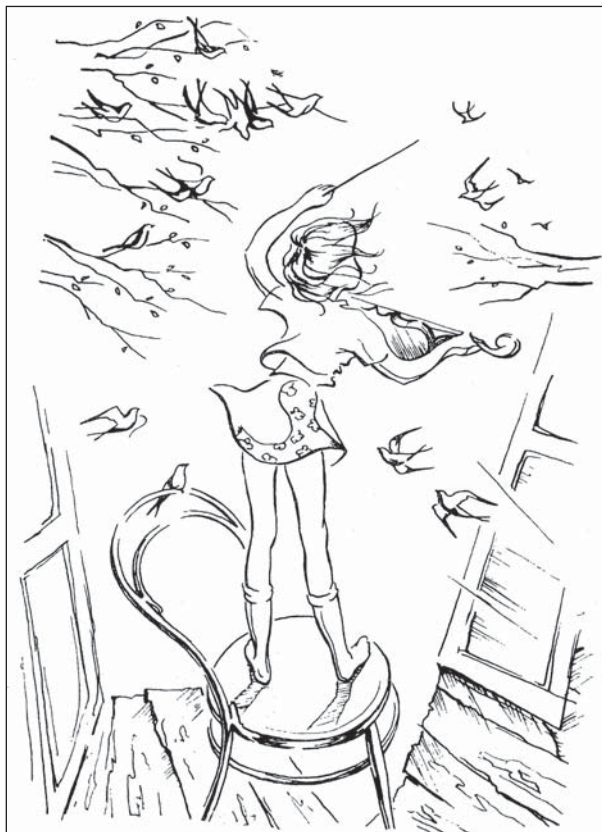


Материнство

прос. И только знаю, что внутренняя наполненность души подсказывает темы работ. Я и сама не понимаю, почему на моих картинах живут только женщины и дети, и за редким исключением — мужчины, да и те — только с натуры. Может быть, моя материнская не-реализованность подсознательно проступала в моих сюжетах, может быть, через эти образы проявлялся философский взгляд на созидание жизни, где женщине отдано предпочтение с её миролюбием и инстинктом защиты своего продолжения.

Картина «Материнство» неуловимо напоминает икону, хотя тогда я ещё не видела икон: крупным планом лицо женщины, на руке которой дитя, одной линией лик матери и ре-

Приготовились!



бёнка, как бы свидетельство неразрывности, как дерево и его веточка, оторви — и будет больно, но отрыв неизбежен — дитя всегда отдаётся миру: так Богородица отдала миру своего сына — так предназначено.

Мне всегда хотелось придать своим рисункам философское звучание, обобщая конкретный случай до символа. Таким выглядит рисунок «Приготовились!» Казалось бы, что тут особенного: девочка, взобравшись на стул, играет в дирижёра, держа скрипку в правой руке — свидетельство того, что на музыкальном инструменте играть не умеет, но она

играет с целым миром вокруг себя. И мир со-
участвует с ней. Через распахнутые двери тер-
расы видны ветви деревьев, на которых рассе-
лась стая птиц, готовая грянуть хором птичьих
голосов по движению её палочки-смычка. Как
хотелось мне рассказать о созвучии в этом
мире ребенка и живой природы! Так, навер-
ное, было при сотворении мира в раю, когда
птицы, звери и люди понимали друг друга, и
осталось теперь от того мира верою в детском
сердце, что это и сейчас возможно на земле.

Эту же тему продолжает рисунок «Береж-
ность». Бережность соединяет оленёнка и
нежное движение человеческой руки. И глаза



Бережность

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

С небес к окну приник
с хрустальным звоном не то снежок,
не то луны кружок. Казалось,
только руку протяни и на ладони
почувствуешь скользящий холодок.

Какой-то праздник праздновала
ночь и наряжала звёздами деревья,
застывшие фонтаном ледяным,
и приглашала невидимых гостей.

Я эту ночь видала, я тайну
подсмотрела в тот звёздный час
зимы. И воскрешаю вновь забытые
виденья ночи, утраченную добрую
минуту.

Уж сколько сломано карандашей
и перьев, чтоб не забыть нам сказок
зимних, летних — всяких, чтоб
не терять таких мгновений потом,
когда на наши «почему» узнаем
множество ответов и смотрим вновь
на звёзды, на луну, а сердце
не задето.

Как будто снился сон мне призрачно-
туманный, и силилась проснуться я,
чтоб разглядеть получше.

Сегодня я смотрю на ветку с дерева
того, что звёздами светилось,
я влагою её пою, чтобы весна
поторопилась, хоть за окном ещё
снега, тут распустились бантиками
почки...

Но явится ли вновь когда мне
звёздный миг — таланта признак?

Раскроет ли теперь зима тот
праздник тайный?

человека, и глаза оленёнка одинаковы в своём выражении доверия, в том ласковом понимании друг друга, которое было свойственно потерянному миру Эдема. Лицо женщины напоминает лик ангела, как отзвук мира существующего, обращённого к нам с любовью.

И первая детская любовь чиста и неприкосновенна, в ней нет телесной чувственности, а только касание к чему-то между друг другом, как в моём рисунке «Первая любовь», касание к бабочке на руке.

Я рано почувствовала хрупкость жизни на земле, и подсознательно рождалась в рисунках тема бережности всех и вся в отношениях друг с другом, будь то человек или животное, или девушка и юноша, или мать и дитя, или взрослый и ребёнок... Не-прикосновение, не-насилие, не-обладание — так открывался мне закон, предназначенный царить в мире от его сотворения и нарушенный первочеловеком.

Иногда мне хотелось свой рисунок сопроводить литературным текстом. Так случилось с сюжетом «Зимняя сказка»: девочка-подросток у ночного окна раскинув руки, с удивлением смотрит на зимний пейзаж за окном, где в лунном свете блестят сугробы снега, а дерево словно покрыто небесными звёздами, как новогодняя ёлка игрушками. На подоконнике стоит банка, в которой ветки, может быть, с того же дерева, предвещая будущую весну. Вероятно, неосознанно я рисовала себя, а моя новелла дополнила рисунок размышлением о расстоянии между детским и взрослым восприятием мира.

Мои рисунки ходили по разным городам, обретая свою самостоятельность, как выросшие дети. Я иногда и не знала, где находится моя выставка. Люди передавали её из рук в руки, сами устраивали просмотр в какой-нибудь организации, на предприятии, в институте, в Доме культуры.



Первая любовь

Зрители тянулись
к моим рисункам,
находя в них проступающий мир,
который ищет каждая душа.

Так она «гуляла» по Москве и однажды очутилась в Кремле. Через несколько дней оттуда раздался звонок, и государственные люди предложили поработать в качестве художника над оформлением учебника для школьников 8 класса «Основы советского государства и права» — этот учебник тогда только готовился, и его авторы полагали, что для 15-летних подростков мои лирические сюжеты будут уместны. Я была уверена внутренне, что камерные, совсем не юридического звучания работы будут инородными в таком учебнике — это как чужая почка в организме. Текст учебника будет отторгать мои нежные, беззащитные картинки суровостью законов и всяческого наказания за их неисполнение. Учеб-



Зимняя улочка

ник мне виделся как уголовный кодекс, но он оказался более приспособленным к детскому восприятию.

Однако меня уговорили попробовать. Я сразу предупредила, что плакатов рисовать не умею, и пошла работать. Мне был дан срок в один год, и надо было торопиться. Я ничего не понимала в книжной иллюстрации, я не умела пользоваться пространством книжного листа в сочетании с текстом, и я просто рисовала картинки. Я перестала спать ночами и сначала пила по одной таблетке снотворного, потом по две сразу. Мои нервы были на пределе — я занималась не своим делом.

Но так появились мои рисунки «Старший брат» для одного из разделов учебника, «Ма-

теринство» для другого раздела, «А что там?», «Приготовились!», «Раскаяние», «Насилие»... На художественном совете издательства «Промсвещение» мои рисунки забраковали, несмотря на авторитетное мнение авторов книги. Мои старания были возмещены, а я утешена изданием альбома моих работ, и прежних, и новых, в уважаемом издательстве «Советский художник».

Вступительную статью к альбому писал художник Евгений Каждан, с которым мы были знакомы короткое время, но он первый из художников-профессионалов понял моё творчество, принял во мне художника, сумев проникнуть в самую суть:

«Графика Людмилы Киселёвой в своём эмоциональном звучании неоднозначна, поэтому тот, кто станет искать в её работах, скажем, академическую чёткость и завершённость штриха, вымуштрованную дисциплину линии или, напротив, раскованную свободу либо подчёркнутую изысканность — вообще, какую-либо конкретную и определенную, канонизированную характеристику, — рискует ошибиться в своих оценках. Какими-то другими при беглом знакомстве, возможно, ещё смутно обозначенными достоинствами, чем-то другим, однако неизменно притягательным, останавливают на выставках внимание зрителей небольшие по формату — преимущественно в обычный альбомный лист — её рисунки».

На заседании комиссии по приёму в члены Союза художников СССР в Калужском отделении почти все художники дружно проголосовали против моей кандидатуры с заключением: «Да какой она художник!..» Почти с той же характеристикой выступили на заседании Московского отделения, и только с перевесом в один голос меня приняли в члены Союза художников.

Конечно, в те годы это был значительный факт, и по нему судили о положении художника, о его значимости. Но это внешняя сторона. Куда важнее для меня были те письма и восторги в книге отзывов, которые мне писали посетители выставки. Только через них, через их восприятие я могла понять свою «состоятельность» и есть ли смысл в моём напряжении.

Мне хотелось всегда быть общественно значимой — так меня воспитывал весь строй нашего государства, так внушали мне радио и советские книги, которые я любила. Я должна быть полезным членом общества — так воспитывали меня родители, так воспитывала школа.

Известность моя началась с того, что я послала письмо в журнал «Юность», одна строка из письма стала названием публикации: «Мне повезло». Я рассказывала о том, как мне повезло появиться на свет у моих родителей, как мне повезло с педагогами, с друзьями, со всеми людьми, кто жил на моём острове. Письмо сопровождалось моими рисунками. С этого всё и началось. В разные города страны потянулись ниточки-меридианы, связавшие меня с ними на долгие годы, а то и на всю жизнь.

Из Калуги на мою выставку приехала корреспондент газеты «Молодой ленинец» Таня Пыжикова, которая первая написала обо мне в калужской газете, а потом на долгие годы, став моим близким другом-подружкой, постоянно публиковала в газете материалы о моих делах, событиях, переменах в жизни. Мир моих чувств был полностью доступным для неё, она знала много сокровенного, как и я о её жизни, её переживаниях. В шутку её называли «киселеведкой». За годы нашего общения у неё собрался такой огромный материал обо мне, что ей предложили написать книгу.

Из Калуги на мою выставку приехала корреспондент газеты «Молодой ленинец» Таня Пыжикова, которая первая написала обо мне, а потом на долгие годы, стала моим близким другом-подружкой.

